

Бродячие сказочники Восточной Сибири

Филипп Егорович Томшин в современном сказительстве – фигура, можно сказать, уникальная. Это – сказочник-профессионал, живое олицетворение той самой типично сибирской сказительской школы, которая так широко была представлена в прошлом и почти и вовсе исчезла теперь.

Тип сказочника-профессионала, как крайне редкий, отмечал ещё Д. К. Зеленин в начале нашего столетия. С таким сказочником, уже семидесятипятилетним стариком А. Г. Краевым (84, т. 2, с. 99–117), собиратель встретился в 1908 г. Сказочник напомнил Д. К. Зеленину тех весёлых людей скоморохов, которых много было в старину на Руси. Без них не обходились пиршества и свадьбы. Учёный приводит интересный диалог проф. С. П. Шевырёва с жителем посада Слотина Александровского уезда Владимирской губернии, состоявшийся в пятидесятые годы прошлого века: «А рассказывают ли у вас на посаде сказки? – Бывает иногда. – Да где же больше рассказывают? – Да по трактирам шляются такие сказочники; веселят народ» (14, с. XX).

Однако сказительская личность Томшина, имея с подобным типом «весёлых рассказчиков» ряд точек соприкосновения, вместе с тем существенно от них отличается.

Краев, как и другие любители «повеселить» публику, выступал главным образом в трактирах, на пирушках и свадьбах, чему соответствовал и скоморошьего характера его репертуар: весёлые сюжеты, всевозможные прибаутки шутки, которыми пестрит их исполнение. Почти все сказки того же Краева, пишет Д. К. Зеленин, «вертятся около свадебного пира как около главной фабулы; описание свадьбы обильно сопровождается у него бытовыми подробностями, а прочувствованное и подробное описание славного «петуха» на свадьбе... явно рассчитано на то, чтобы рассказчику поднесли лишнюю рюмку водки» (14, с. XX).

В отличие от рассказчиков-увеселителей, сказки которых лишь изредка поят и кормят их, сказительская профессия сибирских сказочников была во многом серьёзнее. Конечно, элементы увеселения содержались и в их вариантах и зависели, как, собственно, и во всем сказительстве, во многом от личных наклонностей исполнителей. Но забота о пропитании и ночлеге в условиях суровой сибирской природы и тем более длинной морозной зимы налагала особый отпечаток на их сказительство, делая его своего рода промыслом.

Имея в виду подобных профессионалов-сказочников, М. К. Азадовский писал: сказка для них «не только простая забава, не только средство развлечения, но существенный момент добычи пропитания, в некоторой степени ремесло» (2, с. XVII). На характере этого ремесла сказалось влияние поселенчества и бродяжничества – эти заметные особенности сибирского быта в прошлом. И Томшин, как личность и как сказочник, не мог не унаследовать многого от социального облика старой Сибири.

Родился Ф. Е. Томшин в с. Старцево Жигаловского района Иркутской области в 1918 г. на трудном историческом разломе, когда рушился старый уклад жизни и на территории бывшей царской империи в сложных условиях гражданской междуусобицы и интервенции устанавливались новые социальные отношения.

Потребовались годы и годы, прежде чем в отдалённые и наиболее глухие охотничьи уголки Сибири проникло электричество, радио, новая организация труда и все то, что в конечном итоге повело к окончательному разрушению веками сложившегося таёжного охотничьего быта. Поэтому нет ничего удивительного в том, что волею обстоятельств, к которым мы ещё вернёмся, Томшина прибило к одному из таких специфических берегов старосибирского народного быта, как бродяжничество. Явление это настолько значительно и многоаспектно для прошлого Сибири, имеет такие существенные литературные и фольклорные последствия, что остановиться на нём, хотя бы вкратце, совершенно необходимо.

Бродяжничество – одна из печальных сторон сибирского быта – привлекало внимание многих этнографов, историков, писателей и беллетристов, вольно или несильно путешествовавших по Сибири, а также местных учёных и литераторов. Многие страницы

их сочинений посвящены непосредственным описаниям бродяжничества, исследованиям истории вопроса, причин и форм бродяжничества в Сибири, его социальной природы, часто с привлечением конкретных цифр по годам, по населённым пунктам, трактовым дорогам и т. д. и т. п.

«Бродяжество – бич Сибири, – писал известный польский писатель-ссылный Вацлав Серошевский, – и стоит населению громадных денег, так как последнее, из опасения поджогов и разбоев, принуждено прокармливать 40000 армию бродяг подаванием». По мнению писателя, и Сибири бродяжничество «питается преимущественно ссылкой», но вообще в России это – «явление бытовое» (92, с. 226).

Того же взгляда придерживается и такой знаток сибирского быта, как Н. М. Ядринцев, который бродячому населению края посвящает целую главу своей книги «Русская община в тюрьме и ссылке». Н. М. Ядринцев считает, что, несмотря на определённое своеобразие сибирского бродяжничества, явление это имеет общерусские исторические корни: «Как в древней, так и в новой Руси, побег и бродяжество были единственным протестом личности против стеснявших её всякого рода обстоятельств. Тяжело ли было русскому человеку от крепостного права, давил ли его воевода, брали ли в войско, начинали ли записывать в податной подушный оклад, запрещали ли исповедовать старую веру... голод ли приходил, бедность ли душила... – он делал одно – бежал и бежал» (126, с. 351).

В Сибири бродяжничество возникло примерно в конце XVI – начале XVII века, т. е. хронологически совпало с первыми ссылками, вначале политическими, когда после 1592 г. сюда были высланы жители г. Углича в связи с убийством царевича Дмитрия. Затем, при Алексее Михайловиче, в Сибирь были отправлены за коломенскую смуту из-за упадка медных денег «гилевщики». Сюда же пошли многочисленные сторонники Стеньки Разина и самозваного царя Семёна Алексеевича. Затем, в шестидесятые годы XVII века, – украинские казаки, недовольные присоединением Украины к России. Примерно в это же время начинается уголовная ссылка, когда указом 1653 г. было велено смертную казнь для «воров и разбойников» заменить высылкой в Сибирь. Но вместе с уголовниками в Сибирь сотнями партий ссылались разного рода непокорные: стрельцы, раскольники, запорожцы, шведские военные и польские конфедераты и т. п. (92, с. 203).

Рассматривая историю бродяжничества, Н. М. Ядринцев приводит поразительные цифры¹: «... в 1864 году около Иркутска по разным волостям зимовало до 4000 бродяг; около Верхнеудинска их было одно время 500... Там, где лежит бродяжий тракт по большой дороге, проходит через деревню летом по 30, 40 и даже 60 бродяг, да и зимою случается по 20. Иркутская губерния наиболее обильна числом бродяг, как имеющая несколько казённых заводов и благодаря проходящему через неё пути из Забайкалья, где ещё больше заводов и рудников². В сёлах Енисейской губернии число бродяг также значительно, хотя часть из них и отвлекается на прииски... Едва ли мы ошибёмся, если положим такого народа в Сибири от 20 до 30 000 человек» (126; с. 362–363).

Свидетельства по истории сибирской ссылки и бродяжничества содержат книга С. В. Максимова «Сибирь и каторга» (т. I, СПб., 1896), очерки и письма И. Г. Прыжова (73), статьи известного сибирского беллетриста М. Загоскина (28), воспоминания И. И. Попова (67).

Бродячее население Сибири не ограничивалось одними ссылными. Оно пополнялось и за счёт так называемых поселенцев, которых путём принудительного «прибора» селили на обширных сибирских землях. Первая волна переселения, как известно, закончилась в первой половине XIX века. С ростом крестьянского движения, который совпал с прокладкой Сибирской железной дороги, деятельность правительства по переселению активизируется. В. И. Ленин в 1912 г. писал: «... на переселение крестьян правительство и контрреволюционные партии возлагали особенно большие надежды. Оно призвано было, по мысли всех контрреволюционеров, если не разрешить радикально, то, по крайней мере, значительно притушить и обезвредить аграрный вопрос. Вот почему переселение особенно стало рекламироваться и всячески поощряться именно при приближении, а затем при развитии крестьянского движения в Европейской России» (88, с. 325).

Особенно интенсивно эта политика Российского престола проводилась в жизнь при Столыпине, который говорил: «Дайте мне двадцать лет покоя, и я реформирую Россию». Но эффект сей реформации был весьма плачевным. «Правительство добилось, – писал В. И. Ленин, – нового обострения и ухудшения положения крестьян и в России, и в Сибири» (35, с. 265).

В целом ряде своих работ: «Переселенческий вопрос», «К вопросу об аграрной политике современного правительства», «Аграрный вопрос в России к концу XIX века», «Развитие капитализма в России», «Аграрная программа с.-д. в первой русской революции» и др. – В. И. Ленин вскрывает крепостнический характер всего, переселения, показывая «пасынков» земельной политики, которые огромными партиями отправлялись в Сибирь в скотских вагонах, битком набитых детьми, больными, беременными женщинами; высаживались в совершенно непригодных местах, часто просто под открытым небом. Многие участки были расположены в непригодных для хозяйств местах: без воды, без посевов и т. п. Тогда начинались грандиозные обратные переселения, до 30–40 процентов в 1910 г. и до 60 процентов в 1911 г. «Эта гигантская волна обратных переселенцев указывает на отчаянные бедствия, разорения и нищету крестьян, которые бросили все дома, чтобы уйти в Сибирь, а теперь вынуждены идти назад из Сибири, окончательно разорёнными и обнищавшими» (35, с. 266).

Всё это, также в огромных размерах, вызывало скитальчество. На такое явление не могли не откликнуться писатели-сибиряки. Пристальным вниманием к бродяжничеству отмечены произведения предреволюционных лет Ис. Гольдберга, Г. Гребенщикова, Н. Наумова и особенно В. Шишкова. В ряде небольших, но ярких рассказов тех лет, опубликованных на страницах «Сибирской жизни», В. Я. Шишков показывает именно ту бедноту, самую несчастную, все потерявшую и разорившуюся, о которой писал В. И. Ленин. В одном из них содержится такая выразительная картина, поданная через психологию деревенского булочника, видящего окружающий мир только через собственную лавку. На вопрос о том, много ли в их деревне бывает «странных», он отвечает:

«– Странных-то?.. в воскресенье... три пуда семнадцать фунтов одних сушек прекратили... Одних только сушек, вот ты и считай странных-то...

– Много?

– Как грязи, я тебе говорю» (119).

Об этой же стороне сибирского быта пишет и М. К. Азадовский. В предисловии к «Сказкам Верхнеленского края» он приводит дневниковые записи о подобного рода прохожих, поселенцах или, как часто величали их местные крестьяне, «поселюгах», которые за предоставление ночлега или временного отдыха должны были забавлять своих хозяев разного рода историями и сказками. Вот одно из таких воспоминаний о сказителях-поселенцах:

«Сидишь этак у ворот вечером, вдруг подойдёт какой-нибудь поселюга. Ну то-сё, а потом и начнёт тебе рассказывать. Откуда чо берётся, и всё валит-валит. Уж поздно станет, а он все рассказывает. Новой раз и отпускать его не хочется. А то одну сказку два дня рассказывает». «Так повторяется расчёт Шахерезады, – комментирует этот рассказ М. К. Азадовский. – Нужно так построить сказку, чтобы «пронять вообще-то не особенно податливого сибиряка-челдона, чтобы заслужить ночлег, ужин... А главное – нужно умело затянуть сказку, чтобы она не кончилась к тому моменту, когда пора к «ужне» идти» (2, с. XVII).

Свидетельства писателей и учёных живо дополняются воспоминаниями ленских старожилов, записанных нашими экспедициями: «Раньше много бродягох было», – говорит Р. Е. Шеметова. «Пришельцы сплошь ходили: конные шли, и пешие шли, всяко» (Ф. Е. Томшин).

Местное население старалось не портить отношения с бродягами: летними ночами на открытых окнах выставляли хлеб и крынку с молоком. «Буханку заберут, молоко выпьют, а крынку не тронут» (С. В. Высоких). Многих свои же сельчане «в потаях» держали (М. М. Болдакова), селили в банях, где днём они делали какую-нибудь немудрящую работу, а

вечерами рассказывали сказки. Об одном из таких сказочников-прохожих интересно рассказала та же М. М. Болдакова: он пришёл в семью тогда ещё совсем молодой Болдаковой зимой. По деревенскому обычаю «странному» сразу же предложили поесть. «Дак он и спасибо не сказал, скачком скокнул к столу.

– Ты чо больно прыток и спасибо не говоришь? – нахмурился отец.

– Дак опасуюсь... Пришёл я ноне к однем отдохнуть, ну хозяин, как ты же, и говорит хозяйке: «Тащи, старуха, прохожему поись». Я, как водится: спасибо, мол. А он: «Тащи, старуха, щи обратно. Мы к нему с хлебом-солью, а он с брюхом торгуется». Я как облёванный от стола и ушёл. Время сколько-то прошло, хозяин снова: «Тащи, старуха, щи!» Ох уж тут я скорей за стол и скок. Поел и говорю: «Спасибо». «Вот теперь и говори, – отвечает хозяин. – А то мы к тебе с хлебом-солью, а ты с брюхом торгуешься».

– А ты заливало, – усмехнулся отец».

С тех пор «заливало» и поселился в семействе М. М. Болдаковой. Отменным пимокатом и сказочником оказался прохожий. «Жил всю зиму в бане, катал валенки и рассказывал сказки, а по весне ушёл, как растаял», – с грустью вспоминает Мария Марковна.

Один из таких же прохожих запомнился и будущему сказочнику Ф. Е. Томшину: молодой, голубоглазый, он долго ходил по деревне в поисках доброго хозяина.

– Пустите, из милости прошу, – взмолился он, наконец, в доме, где жил тогда четырнадцатилетний Филипп.

– А чем за ночлег платить будешь?

– Гроша у меня ломаного нет.

– А чем другим, может?

– Да вот сказку могу рассказать, если вы любители слушать.

– Есть у нас любитель, вон сидит, – показал хозяин на Филиппа, – да и мы не прочь.

– Ну вот, мы и сошлись, – подмигнул мальчику прохожий. Спать нам не придётся...³

Аналогичный материал, но уже как свидетельства самих бродяг, находим и в упоминавшийся книге Н. М. Ядринцева: «...крестьяне любят слушать бродяжеские казни и прибаутки», – читаем в главе «Ссылное бродячее население Сибири» (126).

Здесь же Н. М. Ядринцев приводит одну из песен самих бродяг, в которую, по его словам, занесена «эта идиллическая сторона бродяжества»:

Обойдём мы кругом моря,

Половину бросим горя.

Как придём мы под Култук,

Под окошечко стук, стук.

Мы развяжем торбатеи⁴

Стрелять будем саватеи⁵.

Надают нам хлеба, соли,

Падают и бараболи⁶.

Хлеба, соли наберём,

И баньку ночевать пойдём.

Тут приходят к нам старые

И ребята молодые

Слушать Франца-Веньдиана,

Про Бову и Еруслана.

Проводить ночь с нами рады,

Хотя пот течёт с них градом:

Сибиряк развесит губы

На полке в бараньей шубе.

Одну из глав своей книги Н. М. Ядринцев неслучайно посвящает сказочнику-бродяге – Петру Алексеевичу или «Ивану Мотыге», как зовут его в тюрьме, человеку, пользующемуся уважением заключённых. Глава так и называется «Тюремный сказочник».

Сказочником-бродягой суждено было стать и Ф. Е. Томшину. И хотя его бродяжеская судьба не связана с поселением или ссылкой, она во многом повторяет долю многих бродячих сибирских рассказчиков. В связи с этим социально-бытовые и психологические обстоятельства той «более внутренней обстановки», которые формировали сказительские вкусы и умение Томшина, а также сопутствовали его дальнейшей творческой биографии, приобретают особо важное значение.

Сказывать Томшин начал рано, «как только балякать стал... Люди меня учили, тренировали...»

Филипп Егорович часто вспоминает эту радостную, а порой и горькую школу посказительства: «Окружат меня и начинают всякие присказки говорить, а я чтоб повторял... До слез допекают. Иногда целую ночь спать не дают. А когда и ножом стращают...»

На бродяжество толкнуло Томшина раннее сиротство и проявившийся уже в детские годы сказительский дар.

«Сказки у меня на сорта были – вот как книги в библиотеке, – говорит Томшин. – В библиотеке ведь книги выбирают, о чём хотят. Так и у меня на сорта: про богатырей, или про змеих ли, про разбойников, про зверей ли. Про всё, что есть на свете знал. Неделью про богатырей рассказываю. Надоест, – про разбойников начну или про что другое».

Но сказка не только кормила. Могучим заступником и чудесным оберегом от лихих людей было умело сказанное слово. «Слово – оно хуже стрелы, лучше пули возьмёт».

Силу слова Томшин понял ещё в трудные годы отрочества. Любопытен в этом смысле следующий его рассказ:

«Шёл я однажды через Хомутово – зловредная такая деревня была. Смотрю: на выходе уж, за косогором, пацаны меня поджидают. Подошёл.

– Выкладывай деньги, – говорит верзила такой, наверное, уж годов восемнадцати, – ты ведь за сказки-то много насбирал!

– Нет у меня ничего, – отвечаю.

– Врёшь! А не выложишь – сейчас закидаем тебя камнями, – и приказал ребятам:

– Кидайте в него!

Те-то мальцы, боятся послушаться и давай кидать. Каменья, как листопад, летели, но меня никак не доставали.

– Стойте! – сказал верзила. – Сейчас я его ножом пришью.

Подскочил ко мне с ножом. Я и говорю ему:

– Если убьёшь меня, плакать обо мне некому: я как есть сирота. Но от трупа моего не отойдёшь, навечно стоять будешь!

Спокойно так сказал и сел на коряжину. А он с ножом в поднятой руке так и очумел и часа три простоял, как памятник...

Вот како приключенье. Ведь где-то кто-то должен же был стеречь меня, раз я сирота. Меня слово стерегло».

Рассказывает Томшин неторопливо. Подробно и тщательно живописует он чудесно-реальный мир своего волшебного повествования, как будто сам принадлежит ему.

– Ты так рассказываешь, как будто и в бандах был, и со змеями воевал, – раздалась однажды чья-то реплика.

– А как же?! – Томшин тихо усмехнулся и нам: – Посказитель такой и должен быть.

О том, каким должен быть посказитель, Филипп Егорович, действительно, серьёзно думает. Прежде чем начать рассказывать, он внимательно присматривается к своим будущим слушателям, определяя интересы и угол восприятия той аудитории, которой собирается рассказывать: «Вперёд людей послушаю, а потом на них сказки свои прикину, какие подойдут...»

Эта особенность – мысленно «прикидывать» интересы будущих слушателей выработана, должно быть, долгим опытом и присуща во многом сказочникам-профессионалам сибирской школы. Любопытные наблюдения о последней были высказаны в своё время М. К. Азадовским. Учёный не без основания отмечал «следы влияния поселенчества в

сибирской сказке», идущие от особого профессионализма сибирского, добавим от себя, ленского сказочника. Поселенческое влияние в сибирской сказке учёный видел «не в сюжетной теме и даже не в бытовых подробностях. Это влияние в содержании, но главным образом в её форме... в композиции» (2. с. XVII).

Именно необычайно усложнённую композицию наблюдаем мы в сказках Томшина. Рассмотрим её подробнее, а заодно заглянем и в творческую лабораторию сказочника.

Вот, например, его «Колобок»:

«В некотором царстве, в некотором государстве»... Однако после такого, нехарактерного для данной сюжетной темы начала дальше всё пошло, казалось бы, как положено. Колобок, который и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл, и от Зайца, от Волка и от Медведя, наконец, попался Лисе (А. 296)⁷.

Съела его Лиса, а «тесто – мягкое. Тёпленько от него Лисе стало, разморило её, она и уснула на дороге. А мимо ехал мужик с возом рыбы. «О-о! Дохлая лисичка, подумал он, – вот фарт старухе!» – и начинается известная сказка о том, как Лиса крадёт рыбу с воза.⁸

«Оживела от омулей», – замечает рассказчик и уже повествует о голодном волке, который поверил Лисицыным басням («в проруби омулей наловила») и приморозил ко льду хвост⁹.

Но и на этом сказка не кончается. Лиса нанимается к бедняку пасти кур и, конечно, пожирает их.

«Сбубенил» её за это мужик «как следоват», и Лиса взмолилась: «Отпусти ты меня, не убей до смерти. Не пожалеешь». И как «Кот в сапогах» хитрыми уловками она помогает мужику жениться на царевне.

«Я там был, мёд-пиво пил... – говорит сказочник. Делает небольшую паузу и вдруг заявляет: – Но это присказка. Сказка ещё впереди», – и начинается история о том, как Лиса добывает герою дворец великанов¹⁰, и снова резкий поворот: все повествование переходит в приземлённо бытовой план. Сказочный герой становится прижимистым и несимпатичным старосибирским крестьянином. Он не помнит добра и прогоняет Лису из того самого замка, который она же ему добыла: дабы кур не давила, потому как хозяйство у мужика теперь огромное – «скотины всякой навалом».

Лиса также меняет традиционно-фольклорную линию поведения. От её хитрости и ловкости не остаётся и следа. Она попадает в руки великанов, и один из них не по-сказочному жестоко расправляется с ней: привязывает к своему сапогу и отправляется в путешествие – «только шкурка от лисы осталась». Отвязал её великан с сапога, размахнулся и запустил в том направлении, где бывший его дворец стоял. Упала лисья шкурка к ногам того самого мужика, для которого Лиса так много сделала. И он рассудил цинично: «Ну что ж? Хоть шкура осталась. И то жене на воротник сгодится...»

Томшин замолчал и вдруг сам на себя рассердился за такой конец.

– А почему мужик-то таким злым оказался? – не сдержался один из слушателей.

– Так уж вывернулось у меня, – сердито буркнул сказочник и досадливо махнул рукой. Но через минуту улыбнулся и, должно быть, вспомнив виртуозность созданной им композиции, горделиво заметил: – А лохко я их соединяю. Это чтоб всё ходом шло.

И через некоторое время уже так же «лохко соединял» в единый другие сказочные сюжеты. «Жил старик со старухой. У старухи был кот-проказник. Чо не поставишь, он всё спакостит да спакостит. У старика опеть собака была. Чо не поставь, она спакостит да спакостит».

Надоели такие животные деду и старухе, разругали они их:

«– Таки-сяки, разэдаки-таки, эвакуируйтесь отцэда...»

Идут кот с собакой, запечалились. Навстречу им Лиса:

«– Здравствуйте, кто вы такие будете? И как вас звать-величать? – спрашивает.

– Я, – говорит, – Кот Котовеич из сибирских лесов. Крупный начальник я».

И дальше – известная сказка о том, как Кот нагоняет страх на лесных жителей: Лису, Волка, Медведя, и те кормят его и Собаку¹¹.

Однако – это также присказка, потому как, хотя и сытно в лесу Коту и Собаке, но они «к домашности привыкли». И когда наступают морозы, их, уже совсем замерзающих,

подбирает парень, и... начинается волшебное повествование о том, как помогают Кот и Собака выполнить новому хозяину трудные задачи¹² и жениться на принцессе. Но это опять не конец. Коварная принцесса похищает у парня волшебное кольцо и убегает к принцу.

Героя царь прячет в столб, а Кошка и Собака похищают чудесное кольцо у принцессы, возвращают его хозяину и тем самым спасают его¹³.

Томшин – мастер не только сложных сюжетных сплетений и поворотов. Характерным для такого типа рассказчиков, каким предстаёт перед нами Томшин, является умение затянуть повествование путём разного рода повторов. Умышленно удлиняя повествование, он прибегает к примеру «сказки в сказке» («Хрустальный гроб», «Как две сестры сгубили третью за ягоду, за земляночку», «Про молодильные яблоки и живую вону»); в сказки «Иван – Медвежье Ухо» и «Елена Краса – Золотая коса» вводит не трёх, а по семь и девять многоголовых змеев, каждый раз подробно и заново рассказывая о победе героя.

По словам сказочника, некоторые сказки рассказывал он по четыре и пять дней, но это до того, как сгорело Старцево.

Пожар в родной деревне Томшин воспринял как космическую катастрофу. С ним он связывает изменения в своей сказительской судьбе.

Рассказу Томшина о пожаре и связанным с ним рассуждениям мы придаём особое значение, ибо в них пронзались некоторые черты сложного мировоззрения сказочника – как части социального мировоззрения сибирского крестьянства глухих таёжных деревень. Поэтому томшинское толкование пожара не случайно связывается с другими родственными суждениями и самого рассказчика, и его земляков.

Подобного рода суждения возбуждают наш интерес и тем, что они, как правило, идут бок о бок с устно-прозаическими рассказами. Не становясь тождественными последним, они порой врываются в бывальщины или былинки, образуя любопытный художественно-психологический сплав – яркую картину диалектики живых взаимоотношений бытующих народных взглядов и устно-прозаических жанров. Характер их «стыковки», взятый в его современном «срезе», мы и стараемся кратко запечатлеть, ибо, по нашему убеждению, обыденное миропонимание, соотнесённое с активно бытующей в таёжных деревнях несказочной прозой, представляют тот неделимый народно-художественный мир, без учёта своеобразия которого нельзя понять психологию творчества принадлежащего к нему рассказчика.

Что-то «сделал» пожар с Филиппом Егоровичем: «словно пришёл кто-то и унёс» лучшие его сказки.

А пожар, если правду сказать, был «страшнейший». Ни одной избы не осталось. «Будто кто могучей рукой орудовал: сперва сгорело у леса (в два ряда дома-то стояли: у реки и у леса), а потом как кто трубу большую взял и повернул пламя на другую улицу. И она сгорела.

А всё потому, что «проклянённая» деревня была. Стояла она низко, и как половодье – маята со скотом: перегонять на другой берег надо. И всё по льду перегоняли, и всё ночью. А ночью спать охота, и люди ругались спросонок: «А, быть ты проклята! Сгори ты синим огнём!» Вот и сгорела. Потому и вода огонь не брала: ведро воды в огонь выльют, а она вся под землю уйдёт, и из-под земли – пламя!»

С тех пор многие сказки забыл Филипп Егорович, «головой забыл». А, может, и не от пожара это всё с ним приключилось, а оттого, что знал слишком много.

«Человеку много знать не положено, – рассуждает Томшин. – А я очень много знал. Пришли как-то ко мне ребята из четвертого класса, хотели сказки мои посчитать. «Со счёта собьётся, – сказал я им. – Они до трёх раз считали (по названьям только) и всё сбивались... Вот лишнее, видно, с меня и сняли, оставили, сколь положено».

Уже в этом рассказе, как, впрочем, и в отношении ко многим другим жизненным фактам и событиям, проявилась та вера в чудесное, которая испокон веков и до наших дней существует в глухотоманных сибирских деревнях, о чём уже писалось в начале этой книги. Поэтому и события, происходящие с односельчанами и с ним самим в лесу и дома, Филипп Егорович пропускает сквозь призму этих взглядов, давая им особое, народно-

художественное обоснование. Именно тяготеющим над деревней проклятьем объясняет Томшин причину её несчастья. И весь пожар в Старцево видится ему как вмешательство какой-то большой и таинственной силы («будто кто могучей рукой орудовал», «ведро воды в огонь выльют, а она вся под землю уйдёт, и из-под земли – пламя!»).

Напоенное народно-поэтическими представлениями воображение рисует зримые образы «лесных людей», подсказывает определённые и смелые о них суждения: лесовой – «не шибко высокий, но толстый, на обыкновенного человека находит», не любит, чтоб на него смотрели. Но когда сам показывается – «тогда не опасно». Такой случай Томшину «извести»: «Ему (лесовому – Е. Ш.), ишь, побороться захотелось и показать свою удачу. Представился пацаном: маленький, тохонький такой – и говорит охотнику:

– Давай поборемся.

– Да ты что? Я же возьму тебя, у тебя и рёбрышки затрещат.

Тогда пацан взял того охотника за ноги, поднял кверху, подержал сколько-то и опустил на землю.

– Смотри-ка, какая у тебя удача?! – удивился охотник.

– Я могу любой камень, любую гору раздавить, – казал пацанёнок, и его не стало.

Охотник и догадался, что это лесной человек был...

Вообще-то они, лесные, не больно злые. Но относиться к ним надо с опаской, порядок знать.

А так они справедливость любят и за добро добром платят.

Вот в Сурове – деревне пошёл как-то Семён со своим дедом в лес. Рано вышли, не развиднялось ещё. Слышат – ребёнок плачет. Где? Смотрят – на дереве, на ветке зыбка сделана и очипь¹⁴. Что делать? Покачать – беда и не покачать – беда. Но плохого нет все-таки, если ребёнка покачать, подумал дед. Высек длинную палку, чтоб до зыбки достать, и покачал. Ребёнок и перестал плакать.

Видит – женщина высокая по лесу быстро, быстро идёт.

– Вы что тут делаете? – спрашивает.

– Да вот: шёл по лесу, услышал – ребёнок плачет. Думаю – что делать? Взял и покачал зыбку.

– Спасибо вам большое, – говорит женщина, – а я к мужу ходила, харчи носила ему.

– А как же вы оставляете ребёнка?

– Дак что сделаешь? Жись такая, и дома, и в поле – все нужно. Но я с тобой за всё рассчитаюсь. Пойдёшь дале – там ключ. Под елью пару соболей найдёшь.

Он пошёл туда и точно – пару соболей добыл. Вот и расчёт. Лешиха расплатилась».

Строго, но справедливо, по мнению сказочника, обошёл однажды леший и с ним самим: погибнуть не дал, но и припугнул крепко за то, что поднял тот руку на вековечную сосну. Сосна стала падать на срубившего её Томшина, а разгневанный леший приморозил ему к дороге ноги. И лишь в последний момент схватил за плечи («аж тело прихватил»), оторвал от дороги и в сторону бросил. В это время и «деревина упала, аж звоньё получилось». С тех пор и мучают Томшина головные боли, но на лесового он не в претензии: правильно и сделал, что припугнул – «впредь, мол, не поднимай руку на то, что не переборешь».

Без этих и других историй, услышанных от сказочника, не понять психологического облика Томшина – сибирского сказителя, большая часть жизни которого прошла в скитаниях по глухomanным землям приленского края. Поэтическое воображение бродячего сказочника, и без того наполненное фантастикой чудесного, постоянно питалось многими и своеобразными таёжными впечатлениями, которые складывались подчас в причудливые образы таинственных и тоже фантастических существ. Поэтому в особом народно-поэтическом истолковании Томшиным разнообразных жизненных явлений мы наименее всего склонны усматривать лишь приметы «суеверия» в его личности. Народный поэт по кладу характера и профессиональный сказочник по судьбе, Томшин не может и даже не имеет права судить обо всём неинтересно и обыденно. Потребность фантазировать, идущая от поэтического склада его природы, постоянно поддерживается в нём профессиональным заданием – быть интересным, необычным, значительным; заданием, вполне осознанным и чётко сформулированным самим сказочником в ранее приведённых его высказываниях.

Поэтому, как признанный народом сказитель, он облакает в поэтические формы бывальщин и быличек события и явления, с которыми сталкивает его жизнь.

Любопытным комментарием к психологическому облику Томшина представляется образ старика Изота, созданного большим знатоком сибирских народных нравов, писателем-землепроходцем В. Я. Шишковым.

Изот – герой одного из ранних произведений писателя – рассказа «Колдовской цветок». Его воображение целиком захвачено образами народной фантастики, через которые, собственно, он и воспринимает окружающий его мир. Во многих самых обычных явлениях природы старик видит вмешательство «нечистиков», которые, впрочем, совсем не внушают ему мистического ужаса, и ведёт с ними забавную, но по-своему хитрую войну.

Приведём лишь один эпизод.

На зимовье, в котором после утомительного пути отдыхают старик Изот и автор, внезапно налетает ураган. На замечание своего спутника, что «это ураган», дед круто оборачивается к нему и зло кричит: «Ураган?! Как не ураган!.. Много ты смыслишь...» У него на этот счёт свой взгляд, великолепно раскрывающийся автором в последующей сцене снежной метели, которую В. Я. Шишков нарисовал именно такой, какой она видится этому лесному деду.

«Возле зимовья вдруг послышался скрип снега, будто грузный человек взад-вперёд ходит, и тихий, надвигающийся из тайги разговор. Жучка, заблестев глазами, сторожко подняла голову и, потянув ноздрями воздух, октависто заворчала.

– Дедушка, чуешь?

– Стой-ко ужо...

А голоса все громче, шумней...

Жучка, вся оцетинившись и рыча, подступает к двери. Кто-то за дверью стоит, торопливо шарится, скобу ищет...

– Стой, держи... Хватай ружьё!..

И вдруг тут, среди нас, завыло, загайкало, дверь рванули – гайгага-а-а – дверь настезь.

– Свят, свят!

Ворвалось, ввалилось что-то безликое, всё в белом, крутануло, плюнуло, разметало весь костёр, холодом глаза залепило, заухало...

– Аминь, аминь! – взревел дед и грянул из ружья...»

Но самой интересной после стихнувшего урагана является реакция на него самого старика Изота: «Дед перекрестился: «Ну-ка, благослови, Христос», – и как-то по-особому, с х и т р и н к о й у л ы б а я с ь (здесь и дальше разрядка моя. – Е. Ш.), стал разводить костёр.

– Вот они, нечистики-то... Чуешь?.. Ишь как я его из ружья-то о ж ё г п о д х о д я ш ш е» (120, с. 357).

Вот в чём вся суть: старик вёл чудесную войну и вышел из неё победителем. Именно этим вызвана его хитрая улыбка и похвальба в собственный адрес: «Ишь как я его из ружья-то ожёг подходяшше».

И после всего этого какой-то, совсем не сведущий в таёжных делах человек так неинтересно и просто заявляет деду, что это всего-навсего, «ураган». К тому же Изот твёрдо знает и причину, по которой все это произошло: «забыл дверь окстить» (120, с. 358).

Так в сознании старика Изота, наполненном народными образами, фантастика легко уживается с реалистическими взглядами.

Именно так же и в поэтической психологии Томшина – носителя народного, мироощущения далёкой сибирской деревни – сочетание фантастических элементов с реалистическими не только объяснимо, но и во многом закономерно. Так же органично сочетаются они и в его сказках.

Ф. Е. Томшин – сказочник-бытописатель. Записанные от него сказки, а их почти пятьдесят и «после пожара» (!), в жанровом отношении разнообразны. Среди них волшебные и бытовые, сказки о животных, лесные бывальщины и былички.

Но больше всего Томшин тяготеет к чудесному повествованию. «У каждого на свои сказки талант», – говорит он и переводит в волшебный план часто даже такие, которые, казалось

бы, совсем ему не соответствуют. В этом уже можно было убедиться на примерах «Кота Котофеича» и так называемого «Колобка».

Однако, сохраняя традиционную сюжетную тему волшебной сказки, Томшин, как правило, разрабатывает её исключительно в бытовом ключе. Притом не просто вводит в чудесное повествование детали быта, а органично растворяет в волшебном реальное. Неторопливо ведёт он слушателя этими сказочными и такими житейскими дорогами, детально и тщательно оговаривает мельчайшие подробности, создавая иллюзию реального крестьянского быта так хорошо знакомых ему приленцев.

Вот фрагмент из сказки «Про молодильные яблоки и живую воду»¹⁵:

«...Я уже старый стал, – обращается царь-отец к своим сыновьям. – А мне не хочется стариться. Эх, пошли бы вы, добры сыновья, молодильных яблок бы притащили да живой воды. Я бы поел, попил бы – снова стал молодцом. Дак вас-то разве стуришь?

– А чо? Если отпустишь нас, мы пойдём.

– А вы найдёте, нет, где это?

– Пошто не найти? Спрашивать будем: где колодец стоит с живой водой, где куст с таким яблокам растёт.

– Ну, да! Вот-вот! По вашей мысли оно так и будет! Как же! Она в тайном виде живая вода и эти яблоки тоже в тайном виде...

...Пошли все-таки два старших сына выполнять поручение отца.

Только вышли за город, старший сел на дорогу:

– Нет, я не пойду дальше... У меня ножки пристали... Пускай он сам идеё.

...Говорит ему средний:

– Я скажу отцу: «Он сам не пошёл и меня задярживат».

И братья запили. «День пьют, другой пьют, неделю пьют.

– Дак, а деньги-то пропьём, тогда на чо жить будем?

– А царь посылки отправит нам, перевод пошлёт сюды... Батка-то наш чо, не пошлет ли чо ли?

– Правда. Да и Ваня-то дурачок... и он помогать пойдёт, нас ещё разыскивать будут...»

А дома царя одолевают сомнения:

«– Да, – отец рассуждает, – отправил своих сыновей. Вернутся они, не вернутся? Или, может, пьют где запоем, гуляют?

А Иван теперь сидит и размышляет:

– Ты, тятенька, чо думаешь, они тебе принесут? Х-хе!.. Они тебе кулак принесут под нос – вот тебе и яблочки молодильны будут. И из ведра простой воды принесут – вот тебе жива вода будет. Живо помолодшшь!

– Ох, ты выдумщик, выдумщик!.. Собирайся и сам иди, если ты что-то куликашь... Только в ночью время надо воровать. Спать-то не надо.

– Хм, я тоже, наверное, маленько размышляю, что блудить по ночам надо»¹⁶.

Весь этот такой реальный в своей обыденности разговор и ворчливый тон старого «тятки», сетующего на поведение своих шалопаев-сыновей, их дорожные перепирательства и совсем не почтительные для сына размышления вслух Ивана – представляются скорее бытовыми жанровыми сценками, чем фрагментами чудесного повествования. И тем не менее эти, казалось бы, принижённо житейские подробности и диалоги не изменяют традиционных фантастических ситуаций сказки, не нарушают её канонической морфологии.

Его царь Горох из одноименной сказки¹⁷ «был добрый. Никогда ничего худого не делал... Ни на кого шибко не лез, не грабил. Но иногда... У него был лишний палец. А это для человека не положено. Но он носил перчатку, чтоб никто ничего не видел. Но этот палец всё-таки давал себя знать. И иногда находило на него». Тогда становился царь «шалным... Приходит в пекарню:

– Вы чо меня горелым коркам кормите? Ишь! Мякиш-то домой убуровили! Я уж зубы похряпал об ваши об корки, – говорит, – Ну-ка, отцэда марш! – и попёр их...»

«Заходит на кухню:

– Вы чо меня одним бульоном кормите? Мясо-то повытаскали и домой упёрли! А мне: на, мол, батюшка, ешь бульон – мяса-то нет на складе-то! Варить-то, мол, некого. А чо меня бульоном-то? Вода, она, говорят, мельницы ломат! А человека чо стоит сломать, организм этот? Ну-ка отцэда вон!..

Идёт на молоканку:

– А-а! Вы масло таскаете, сливки, молоко, а вместо воды налиете. На, мол, пей, чо нам не гоже!

– Да ты кого собирать? Вот и масло, и сливки, и молоко!..

– А ну-ка, марш отцэда! – И попёр их, и выгнал всех.

Ну, дальше, дальше, и пошёл, и пошёл! И народ весь с фабрик угнал и с заводов тоже. Все прекратилось. Началась голодуха, и народ пошёл странствовать»¹⁸.

Именно народная жизнь во всём многообразии её повседневного быта встаёт из сказок Томшина. В них и неудачливый охотник, неизменно возвращающийся домой «с пустым варешкам», и злобно «заедающая» его старуха: «Все добывают белку, соболя, а ты ничего не добыл! Только продукты тамака ходишь жрёшь в зимовье!.. Потешь, наверное, лежишь в своём этом зимовье?! Тебе лень ходить охотиться!» (116, с. 96).

И нудный «пила»-старик, который больше всего боится остаться один, «на белый свет мыкать», потому и не отпускает он свою старуху в лес по ягоды, а потом корит» заболевшую от страха после встречи с медведем ослушницу: «Вот и заработала себе болезнь... Я вот дома просидел, – со мной ничего нет. А ещё как ты теперь болеть будешь. Ладно, если оздоровишь. А не озоровишь, чо будет? Останусь один, и ребятишки останется, страдать будут»¹⁹.

Трудно представить (если не знать дальнейшего содержания сказки), что так обыденно начинает Томшин разработку двух распространённых волшебных сюжетных тем: «Битва на мосту»²⁰ и «Иван – Медвежье Ушко» или «Сильный Джон»²¹. Притом и с похитившим её медведем старуха ведёт такой же житейски обычный разговор.

Медведь:

«– Теперь веселе будет нам вдвоём-то.

– А я тутюка замру с голоду-то.

– Ничего, не замрешь. Я тебе ягод натаскаю, шишек натаскаю. Орешки пошшалковать будешь... Голубика, черника – сама хороша ягода! И хлеба не надо будет.

– Дак я убягу!

– Не-ет, не убяжишь! Я тебя караулить буду!»²²

Так же «запросто» разговаривает купеческая дочь со Змеем, который, сыграв роль традиционного похитителя, превращается в устах Томшина в одного из хорошо известных сказочнику мужей-неудачников, до конца поработённых сварливыми жёнами:

«– Фу, русским духом пахнет», – произносит Змей и получает в ответ целый поток дерзостен:

«– Да от тебя волокёт, как от волокуши какой, – кричит им же «утягнутая», но ставшая теперь полновластной хозяйкой купеческая дочь. – Ты там валялся, катался всяко, вот от тебя и прёт разным духам!

Ну, Змей замолчал, делать ему нечего» (116, с. 54).

Порой такие жанровые сценки в волшебном повествовании Томшина настолько яркие, настолько насыщены сочным живым диалогом, что, если бы не упоминавшиеся только что змеи, великаны и другие чудесные персонажи, ирреальность их трудно было бы представить.

Вслушиваемся в разговор солдата с волшебным существом, появляющимся «ниоткуда» в зимовье:

«– Можно у вас отобедать? – спрашивает великан.

– Почему нельзя? Можно! – отвечает ничуть не испугавшийся солдат.

Великан оглядел стол:

– Да кого же тут исти-то? Исти-то у тебя некого. А вот раз ты уважил меня, пригласил – пойдём ко мне, я тебя угошшу!.. И я с аппетитом поем с человеком. А то мне просто не лезет, – говорит, – ись не могу один никак...

Солдат – не дурак, думат: «Как тут исти-то в чужом помещшени. Напейся-ка – он тут меня и кончит! Кто его знат? Люди-то ведь всякие...»

А тому человека удивить надо: пусть, мол, там потом разговоры ведут про него...» (116, с. 60).

Сказочник детально описывает «помещение», в котором живёт великан, вплоть до всех мелочей домашней утвари: «здоровуший стол» с обилием «посуды всякого калибра. Для маленьких там маленьки тарелочки, для болих – поболе, и рюмочки, и стакончики», и «поллитровый ковш», и «ковш трёхлитровый», и «лагунок», «ушатик», «кадушечка», «обыкновенная бочка» т. п.

Даже сказочные звери в интерпретации Томшина наделяются чертами повседневно встречающихся, обыкновенных людей. Таков пользующийся правом старшего «начальник караула» Медведь и его незадачливые помощники Волк и Заяц, которые нарушают приказание стеречь хозяина и после трепещут от грозного его вопроса: почему голова хозяина «напрочь от туши валяется»? «Сном издолило», – пытается оправдаться Ушкан; «задремал, уснул что-то», – вторит ему напуганный Волк. «Я тебе сейчас покажу, – говорит Медведь. – Ну, и выстирал этого Волка так, как надо. – Ну, как шо? Дремать будешь, нет?» – «Ой, нет, больше я не буду... прости...» (116, с. 75–76).

Особого внимания, с точки зрения художественного плода Томшина, заслуживает, на наш взгляд, его сказ «Про Андрея-стрелка». Рассказанная на известную сюжетную тему «Путешествие в неизвестное»²³, она настолько любопытна сочетанием полноты разработки традиционного сюжета с мастерством реалистичного бытописательства, что мы считаем необходимым представить этот вариант подробнее, сохраняя по возможности своеобразие его интерпретации.

Царь, у которого «вышли все продукты», приказывает лучшему из стрелков Андрею «обеспечить» его мясом. Андрей носит ему «торбы уток», «рябчика лесового», «глухарей». Он и «на большого зверя идёт», «хитрого тут ничего нет, если добро ружжо... да силёнка – удача есть..., рот не разевай только». И медведя забил стрелок царю, и сохача, и оленя. «Да чо! Раз в лесу родился у отца-охотника и сам охотником считаюсь!»

Как-то раз прибегает к царю «человек такой нехороший:

– Ты, царь-батюшка, ничо не знашь?

– Нет, ничо не знаю.

– А ты чо? Этого человека-то отправляй-ка на трудные задачи! А то всё тут: туда да сюда. Тут и я всё могу сделать.

– Э-э! Чужим рукам можно делать-то. Ну, чо ты переделал?

– Ничо. Обыкновенно работа идёт, как у остальных.

– Ну, а чо тебя тут заело-то? В чем дело? На человека-то волокёшь?! Чо ему на том свете надо?

– ...ты своего батьку забыл, наверное, и дедку забыл. Ну-ка, вспомни-ка: у тебя были они, нет?

– Да были вроде.

– Но как, проверить-то надо? Как они там живут, как работают?

– Ну, ладно, когда он придёт сюда, я ему подскажу».

Андрей-стрелок соглашается сходить на тот свет, но требует у царя «его человека» с собой, чтоб доверенность была и «веселее идти на пару»:

– Ты подумай-ка сам-то своей головой, – говорит он царю, – как оно? Если ты бы куда-нибудь пошёл, не то бы было!

Спутешествовал Андрей-стрелок на тот свет, узнал, «как там житуха», привёз наказ царю отца и деда, чтоб тот «над людям не издевался, а был к народу человеком», а не то большие ему «каранья» после смерти будут.

Выполнил он и вторую задачу – принёс чудесного кота – Буяна. «А ты чо, царь-батька, хошь морить меня, чо ли замаривать? – дерзко вопрошает кот царя. – Я тебе – небось! И забудешь про всё.

– Но, зачем? – добродушно отвечает царь. – Я тебя для интереса завёл. А какой враг нападать будет, у меня защита будет.

– А-а, вот политику каку ты навёл! Но, но, так пусть и будет тогда».

Третья задача для Андрея-стрелка (пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что) также подсказывается царю одним из его слуг. Царь в отчаянии: «Таку задачу простой работяга придумал царю... почему я не могу никого придумать?!»

«Узнать все данные» и «расследовать дело» берётся бабка героя старуха-колдунья. Собрав «со всей тайги птиц, лягушек, рыб», она обращается к ним за помощью: «Может, слышали где, может, видели?» – «Но, не знаем, кого мы? Врать нахально не можем», – отвечают лягушки.

В конце концов Андрей-стрелок находит невидимого свата Наума, становится обладателем дубинки-самобоя, топора-самосека, чудесной дудки, с помощью которых побеждает «самого вредного человека» – царя, и его ставят «руководителем», невзирая на возражение: «Да кого? Мне грамоты нет». – «Не обязательно грамоту, без грамоты можно тут»²⁴.

Эта сказка, абсолютно выдержанная с точки зрения традиционной морфологии и очень длинная (30 стр. машинописи), вместе с тем поражает удивительно житейским её наполнением: образы незадачливого, царя, бесконечно препирающихся с ним завистливых подчинённых, привыкших «чужими руками делать», удачливого охотника Андрея, для которого в любом деле «хитрого ничего нет»; по-домашнему ворчливой колдуньи-бабки; даже лягушек, идиотски добропорядочных в своём «невежестве», – воспринимаются как хороша знакомые жизненные персонажи. Их взаимоотношения – отношения сельчан «на равных». Никакой субординации между царём и его подчинёнными нет и в помине. Более того: третирование глупого, презрение к «вредному человеку», мужику, который сам «никого придумать не может», чётко проступает во всём повествовании. Даже кот смешно угрожает царю: «...Я тебе-небось! И забудешь про всё!»

Уже здесь проявилась та неопределённость социальной позиции Томшина, которая в какой-то мере свойственна всему его творчеству и отчасти вызвана, по-видимому, давними связями сказочника с бродячим населением края.

Бродячий народ России в большинстве своём не имел прочных социальных связей²⁵ ни с одним классом российского общества. Поэтому бродяжничество не могло иметь чётко выраженного лица. Основной заботой бродяг, как правило, были ночлег и пропитание, которые, кстати сказать, играют значительную роль и в сказочном повествовании Томшина. «Поисти» – одна из главных забот всех томшинских персонажей, чему имелись уже неоднократные свидетельства. Именно с эпизода «обеспечения продуктами» начинается чудесная «карьера» стрелка Андрея. С «пекарней», «кухней», «молоканкой», продуктовым «складом» связывается сказочная судьба и царя Гороха; зря съеденными в зимовье «продуктами» корит сварливая старуха своего охотника-мужа. «А ты чо, царь-батька, хошь морить меня, замаривать?» – вот главное, чего больше всего на свете боится волшебный кот Буян.

«Да кого же тут исти-то?» – удивляется сказочный великан малой порции налитого ему «супа» и великодушно потчует храброго героя своими «продуктами».

Из-за чрезмерной прожорливости своей «охоты» страдает и герой сказки «Приключения двух охотников»²⁶.

Расправившись со змеем, Александр засыпает, наказав зверям нести около него караул. «...Медведь к Волку подходит:

– Смотри, карауль хозяина. А я... тут пишу поищу. Жрать надо кого-то.

Ладно. Медведь ушёл. Волк к Зайцу подходит:

– Давай карауль хозяина, а я сбегаю тоже пожрать.

– Дак а я-то кого тут? Я тоже исти хочу!.. – покрутился... увернулся и убежал куда-то...» (116, с. 74).

Мотив «пишши» во многом является организующим в таком большом повествовании Томшина, как его сказка «Про Аладина». Однако было бы неверным те или иные мотивы, как и особенности интерпретации вариантов, истолковывать только бродяжническим прошлым среднеленского рассказчика.

Конечно, бродяжья стихия весьма ощутима во всех его сказках. Но тем не менее Томшин – фигура социально более сложная, чем то бродячее население Сибири, которое окончательно забыло свои общественные истоки. Первые впечатления детства сказочника, вскормленные обстановкой бедняцкой крестьянской семьи, не могли исчезнуть бесследно из восприимчивой памяти показателя и с годами. К тому же бродяжничество Томшина было особым: ареал его скитаний ограничивался приленскими сёлами, где он постоянно сталкивался с бытом, хорошо знакомым ему с младенчества.

Именно он, этот бедняцкий быт отчётливо проступает и особенностях томшинской интерпретации мотива «пишши» и всей сюжетной темы «Лампы Аладина»²⁷.

Сказка Томшина своеобразно переосмысляет известный восточный сюжет. Однако от восточного варианта повествования ленского сказочника, кроме основного сюжетного стержня, ничего не остаётся. В своей сказке Томшин фактически рассказывает о жизни хорошо знакомых ему приленцев, притом приленцев-бедняков. Эта бедняцкая атмосфера ощущается во многих деталях повествования. «Жил один житель бедно-пребедно», – так начинает сказочник свой вариант. И дальше по ходу рассказа бедность семьи Аладина постоянно подчёркивается: «Денег нету в школу», – отвечает отец на желание сына: «Надо в школу». «Мы же бедные», – отговаривает мать Аладина от женитьбы на царской дочери. – «Ты подумай... Да я и к богачу не пойду. Он меня выбросит, не допустит дотуда» (104, с. 119).

Мотив голодной бедности проходит через всю сказку. Сам герой сказочные предметы и явления расценивает лишь с точки зрения возможности «поисти»: «Дай мне лучше поисти, я голодный», – говорит Аладин чудесно появившемуся Джину. Он отвергает всё то заманчивое и волшебное, что предлагает сделать для него этот могучий исполин и просит только одно: «стол с кушаньям, больше мне ничего не надо от тебя». «Он им на стол тут натащил, что хватит надолго исти, питаться». Аладин «с голодухи-то маленько погодит, да опять это ест».

Даже царь, увидев выстроенный Джином дворец из «золотых каменьев», прежде всего осведомляется у Аладина. «Ну а пишша-то есть там?» – «А как же без пишши», – отвечает тот (104, с. 117–122).

Нужно сказать, что, хотя Томшин и не является, в отличие от верхнеленских сказочников или того же Сороковикова-Магая, мастером, так сказать, тонкой психологии своих сказочных персонажей, но некоторые их душевные движения ему явно удаются. Например, и той же сказке «Про Аладина» есть весьма любопытный момент такого описания: ошеломлённый красотой принцессы и своим, внезапно вспыхнувшим к ней чувством, Аладин прибежал домой, «упал с испугу в постель, мать подходит, спрашивает:

– Чо с тобой случилось? Кого увидал?

Но он только мычит, никого не говорит, а про себя думает: «Теперь она всё равно за мной будет. Всё равно за мной она будет».

А наутро просит мать унести царю подарок и посвататься за его дочь. На отказ матери («Меня бешена собака не кусала») Аладин так объясняет ей всю глубину своих переживаний, пытаясь при этом довольно тонко подействовать на самые чувствительные струны материнской души: «Если ты не пойдёшь, то я буду умирать тогда. Оставайся одна. А если сходишь, тогда я буду в живности. Вот так из двух выбирай: или пойдёшь, или простишься со мной.

– Ты кого собираешь, сынок?

– Вот так, больше мне нету жизни.

– Но ладно, сынок, пойду» (104, с. 118-119).

На наш взгляд, этот диалог с матерью просто великолепен по глубине проникновения в сложную и напряжённую житейскую ситуацию. Превосходна и эволюция реакции матери, от грубоватой («Меня бешена собака не кусала») к проникновенно ласковой – «ладно, сынок, пойду». Резкая контрастность двух приведённых фраз мастерски передаёт психологическое движение пери, до конца вдруг понявшей всю силу душевных переживаний сына.

Психология беднейшего крестьянства в его не раз отмечавшейся противоречивости, усложнённая к тому же бродяжьим прошлым сказочника, особенно ярко отразилась в сказке Томшина «Сабля-невидимка». Главный герой томшинского варианта – солдат, находящийся в чрезвычайно своеобразных контактах с царской семьёй. Характер их взаимоотношений нас теперь больше всего и занимает.

Прежде всего, необходимо отметить, что несмотря на солдатскую принадлежность основного персонажа солдатской сказку Томшина не назовёшь.

Как можно было убедиться на примере творчества хотя бы ангинских сказочников, формальная социальная приписка сказочного персонажа, сама по себе, ещё как не квалифицирует социальную направленность варианта. Всё дело в общественном мировоззрении рассказчика, угол зрения которого определяет и социально-художественную наполняемость его творчества.

В фольклористике не раз высказывались мысли о необходимости качественного разграничения солдатских и крестьянских сказок. «Солдатская сказка, – пишет Н. В. Новиков, – пронизана более острым социальным самосознанием». Особенность её социального пафоса наиболее чёткое выражение получает, как правило, в эпизодах взаимоотношений царя с положительным героем. Именно на этот момент обращает внимание Н. В. Новиков, анализируя сказку Ф. П. Господарёва «Солдат Данила»: «...острота социального самосознания в сказке Господарёва», по мнению исследователя, «рельефно» выражается в эпизоде столкновения солдата Данилы с царём (93, с. 36).

В подобной же ситуации слышнее общественный голос в варианте Томшина. Однако социально-художественное звучание его интерпретации заметно отличается от переосмысления аналогичных моментов как в сказке Господарёва, так и в творчестве многих других сказочников, в том числе ангинской, а также верхнеленской сказительских школ. Все дело в том, что томшинский солдат – солдат только по названию. В его антагонизме царю отразилась вся сложная противоречивость умонастроений предреволюционного крестьянства с его критическим отношением к самодержавию и наивностью представлений о формах борьбы с ним. Правда, герой Томшина, в отличие от однотипных винокуровских персонажей (в женских вариантах), осознает свою общественную полярность по отношению ко всему царскому роду, потому и «других царевен сватать не стал: остальные дочеря, может, таки же собаки, как первая» (116 с. 71). Но социальное самосознание его ещё не выкристаллизовалось, не получило той остроты, которая ощущается в схожих положениях ангинцев, у Сороковикова-Магая и тем более в аналогичном эпизоде Господарёва.

Напомним ситуацию: солдат встречается с царём, от которого много пришлось ему претерпеть. Но теперь руках у солдата могущественная волшебная сабля, мним взмахом которой можно уничтожить целую армию.

У Господарёва:

Солдат Данила говорит царю, пославшему против него полк солдат: «...тебе... не жалко, солдатских шей, свою ты жалеешь! Так вот видишь, сколько людей погибло, а ты ч т о з а л и ц о? (Здесь и дальше разрядка моя. – Е. Ш.). Без тебя не могут царствовать?.. а ты хотел сам жить. Сколько я муки принял через тебя, д у р а к а. Ты жил чужим умом... Ну, вот сегодня тебе г о л о в у с н и м у... Я д о ж и д л э т о т с л у ч а й д а в н о, чтоб тебе голову снять... с о б а к е с о б а ч ь я с м е р т ь б у д е т». – Повернул свою шашку, срубил ему голову. И тогда все солдаты крикнули «ура» с. 112).

Нельзя не согласиться с Н. В. Новиковым, услышавшим в таком переосмыслении традиции Господарёвым «отзвук боевых настроений, чаяний и надежд белорусского крестьянства перед революцией 1905 г.» (93, 24), сказка которого «впитала в себя элементы психоидеологии современного сказочника-рабочего» (93, С. 36).

Аналогично решается похожая ситуация и в повествовании Сороковикова-Магая. Герой его сказки «Алёнушка-чудесница» при помощи волшебного платка вызывает «несметное количество войск». «Царь стоит, рот разинул и диву даётся, а потом закричал:

– Положь платок в карман, а то войско нас задавит.

– Нет, – говорит Иванушка, – пусть идёт и давит всех, кто л ю д я м з л о т в о р и т, на то они и войска, чтобы хлеб даром не есть.

Проговорил он это и даёт команду:

– Секи голову наперво ц а р ю, потом всем к у п ц а м и б у р ж у я м». (Везде разрядка моя. – Е. Ш.) (95, с. 259).

Совсем в другом плане представлена логика поведения солдата у Томшина. Прежде всего, томшинского героя нимало не задевает, так сказать, моральная сторона дела – подлое предательство принцессы. К измене царевны он относится с точки зрения хозяйственного крестьянина: «пропажа у него весь труд-то (116, с. 71). Такого рода досада схожа с переживаниями героя сказки П. А. Болдакова²⁸ «О бедном охотнике» крестьянина Ивана, от которого улетел с таким трудом выкормленный им орёл. Целый год прожил раненый орёл у Ивана, который не пожалел для него в своём бедняцком хозяйстве последнюю скотину. И вот теперь орёл выздоровел и улетел. Глядя вслед исчезающей в небе птице, Иван досадливо думает: «Вот, накорми птицу! Телёнка скормил, поросёнка скормил, и орёл мой улетел...» (104, с. 21).

Так же рассуждает и солдат Томшина: он спасал царевну, «а она к рукам не пришлась». И самое важно для него теперь «не попуститься» и получить плату «за труды». И хотя солдат очень зол на царя, характер его требований и аргументов весьма жалкий, «юродивый» Он по-крестьянски подробно «обскаживает» царю свои злоключения: «Я вашу дочь спасал, а она... ушла к королю. И капитан её увёз без спросу, а меня оставили ни острову... саблю у меня уташили, простую подсунула. Тут опять связали меня, спутали да коню под брюхо Коня распонужали, дескать, конь растреплет его... Ну ладно, что хозяин меня оздоровил...» (116, с. 71).

Так говорит по сути дела очень могущественный человек – обладатель волшебного меча. Притом сам солдат знает об этой своей силе: «Ты со мной ничего не сделаешь, – говорит он царю, – хоть пусть тут у тебя тысячи армий стоят. В одну минуту я их кончу!» И после таких грозных слов тем более нелепо звучит требование солдата «оплатить то, что проел». Собственно, в том требовании, сочетающемся с осознанием (хотя и кратковременным) своего могущества, как нельзя ярко выразилась психология того самого предреволюционного крестьянства, отсутствие социальной последовательности которого отразилось в «кричащих противоречиях» бессмертного творчества Л. Н. Толстого (37, с. 217-218).

Подобная аналогия имеется и в варианте хакасского сказочника В. Н. Сметкина. Герой из его сказки «Стрелец-молодец»²⁹, получив могущественное оружие, заточает царя в «тюрьму», «изолирует от общества». И, освободив его из заточения, спрашивает: «Ну, что, ваше величество? Что вы нам пообещаете за то, чтобы оставить вас в живых?»³⁰

Приведённые выше примеры рождают вопрос: чем объяснить такое «отставание» социального мировоззрения сказочников, проявляющееся в их творчестве, от общественных представлений современного человека? Ведь и Томшин, и Сметкин, и Шеметова, и Пермякова, и Болдаков, даже Господарёв, который также «подчас» социальные вопросы «разрешает с позиций патриархального крестьянства» (93, с. 24), и многие другие сказочники – наши современники. Почему же в их сказках до сих пор проступает ограниченность крестьянских идеалов прошлого?

Пожалуй, это вопрос, относящийся не столько к мировоззрению конкретного сказочника, сколько к эстетике народного сказительства, её качественному уровню. Всё дело в том, что в сказительстве – искусстве по своей специфике традиционном и в определённой мере инертном – наследуются не только основные сюжеты и образы, но и мировоззрение прошлого. Социальные представления ушедших лет, как правило, не совпадают с житейскими взглядами современного сказочника. Однако, интерпретируя на уровне нового (современного) типа художественного народного мышления традиционную сюжетную тему, он вместе с тем, как народный поэт, не может не сохранить в своём варианте и элементов старого мировоззрения. Ибо хороший сказочник наследует не «голенькие» образы, но и заключающиеся в них представления, которые, «осовремениваясь», оживают в каждой новой его интерпретации. Вот почему в современную сказку переходят традиции мировоззрения предреволюционных лет. И та социальная двойственность, которую мы наблюдаем в современной сказке, во многом была свойственна и классическому волшебному повествованию.

О двойственной социальной природе крестьянства, нашедшей отражение ещё в записях Н. Е. Ончукова, писал К. В. Чистов: «С одной стороны, в ряде сказок по-прежнему сохраняется стремление героя-мужика стать царём, или в них действует сказочный Иван-царевич («царь – вольной человек»), либо справедливый царь выступает союзником положительного героя в борьбе с боярами, либо царь сочувственно относится к лихому вору, обманывающему подряд купца, архиерея, бояр и генералов... С другой стороны... в сказках начинают встречаться герои, после победы отказывающиеся жить во дворце, либо герои, не скрывающие своего презрения к царю и чрезвычайно вольно с ним обращающиеся...» (112, с. 22-23).

Именно всё это продолжает оставаться и в волшебной сказке наших дней, притом часто даже на уровне одного и того же рассказчика.

В дополнение к уже цитированным приведём ещё один характерный пример: по поводу традиционной женитьбы героя на царской дочери нерчинский сказочник С. Т. Чекашин презрительно замечает: «И так вот покамест до р е в о л ю ц и и жил у царя. П р и х в о с т н и к о м (разрядка моя. – Е. Ш.) уж вобще-то...»³¹

Вместе с тем такое переосмысление одной сюжетной темы сочетается у Чекашина с идеей «справедливого» паря, которую проводит он в сказке «Ванюша – лотые кудрецы»: стал Ванюша царём и объявил: «Пять дней на себя работать, а день на его хозяйство... народ зажил» (88, с. 243).

Эта же мысль находит своё более подробное развитие в другой сказке Чекашина, «Про Ванюшку», столоначальникова сына, где после традиционной концовки: «Тут я был. И квас пил...» – следует такое своеобразное «заклучение»: «Он (Иван. – Е. Ш.) был такой д о б р о д у ш н ы й к к р е с т ь я н а м:

– Работайте пять дней на себя, день на меня будешь работать. Хватит, там своё хозяйство. – И вот, знаешь, после того, как в революцию-то р а с к у л а ч и в а л и, он как хороший мужик (везде разрядка моя. – Е. Ш.) председателем колхоза остался ведь и до сего время работает»³².

Однако элементы нового, привнесённого современной жизнью мировоззрения становятся в волшебной мазке наших дней всё осязаемее. С полным осознанием общественного положения героя начинается, например, волшебное повествование «Солдат – Негр несчастный»³³ головского сказочника С. В. Высоких. Рассказами с немалой долей иронии объясняет в самом тексте сказки её название: «Двадцать пять лет прослужил (солдат. – Е. Ш.). Когда пришёл домой – никого нет из родных, дом заколоченный – в с ё в п о р я д к е. Сел он на завалинку. Посидел, поплакал и пошёл да с горя и дал себе кличку: я есть Негр. Как негр я несчастный...» (116, с. 107).

Это чётко выраженное социальное самосознание проходит через всё творчество Высоких: «Это были мои труды, но не ваши», – говорит царю Иван Васильевич – «удачный работник»,

отказываясь отдать ему золотой дворец. В конце же сказки герой отказывается от женитьбы на принцессе и от царства: «Как я был батраком, так и буду», – заявляет он (104, с. 51).

А в сказке устькутского сказочника-рабочего Д. И. Жукова царь сам нарушает обещание выдать найденную дочь за спасителя и выгоняет всех пятерых братьев за ворота: «...чтобы было не забидно никому, он взял их вытолкнул во двери на улицу. А с улицы дворовые выгнали за ворота. И остались братья без денег, без вина, без богатого наследства и без царской дочери»³⁴.

Черты нового мировоззрения входят в сказки многих сибирских сказочников. Усиление «классового момента в обрисовке царей, купцов и других представителей господствующего класса» отмечает Р. П. Матвеева в творчестве Магая (50, с. 123).

Несомненное влияние на формирование прогрессивного мировоззрения сказочников Сибири оказали политические ссыльные. Так, один из известных, по словам собирателя, сказочников Баргузинской долины А. А. Хлескин свидетельствует, что многие сказки он «перенял» от поселенцев, бродяг, ссыльных.

Думается, что не без воздействия политических ссыльных появились в повествовании Хлескина такие моменты: «В этом имении жили два брата: один Боба-королевич, пролетарий, ничего не имел, а другой брат колдун-чародей, имеющий капитал» (разрядка моя. – Е. Ш.). Вся эта сказка («Иван-царевич и Боба-королевич»), необыкновенно интересная и длинная, превосходно сохранившая характерную для волшебного повествования орнаментику, кончается вовсе не традиционно и неожиданно: героя после всех его подвигов лишают чудесной силы, и он женится на дочери лесника, с которой и обретает счастье: «Ведь ему никто не внушал, что надо на человека походить, – объясняет перерождение героя его жена Клавдя. – А я стала внушать: будь человеком. Вот он и послушался меня – стал первым парнем на деревне» (88, с. 177–198).

По всей вероятности, идеями политической ссылки навеяны элементы нового мировоззрения и в творчестве М. А. Оглоблина – партизана в прошлом, который раньше учился грамоте у ссыльных. «Политически» тенденциозно звучит в его сказке «Два брата»³⁵ такой, например, эпизод: Змей поедает из года в год людей. Раньше «большинство страдало из крестьян и из батраков. А потом поставили вопрос перед государем по жребию давать народ. Государь этого волнения побоялся и требование крестьян стал выполнять»³⁶.

Черты современной морали нашли выражение и в сказках Томшина. «Я – спаситель народа, – говорит его Иван – Медвежье Ухо в одноименной и уже упоминавшейся сказке. – Мне счастья не будет, если я людям помогать не буду». Поэтому он отказывается от вознаграждений, которые предлагают ему цари за победы над многочисленными Змеями. «Я иду для б л а г а народа – моя путь такая... И если жизнь придётся мне положить, но где-то кто-то спасся, – меня будет вспоминать. Теперь я иду в следующий город. Пока не пройду по всему земному шару, не успокоюсь. Пока ноги тащут, до тех пор буду двигаться...»³⁷

Подобные сентенции, как своеобразные рефрены, и чат в сказке Томшина каждый раз после рассказа и победе героя над очередным Змеем.

Однако, в отличие от большинства исследуемых здесь вариантов сибирских рассказчиков, в творчестве Томшина идеи передового мировоззрения выражены чрезвычайно слабо. Его герои, как правило, несут на себе печать личности сказочника, в общественном сознании которого социальная индифферентность бродяжества переплелась с наивно-патриархальными крестьянскими представлениями. Последнее отразилось и на характере его бытописательства.

Вообще нужно сказать, что интерес к деталям быта, тщательное описание всей житейской обыденности в той или иной мере свойственно многим сказочникам нашего столетия.

Однако в творчестве разных сказочников бытописательство нередко отражает их индивидуальные интересы и сложности. Неслучайно именно эту особенность современного сказительства мы иллюстрировали в первой главе так называемыми тенденциозными вариантами.

Вместе с тем следует заметить, что подобное направление в современном сказительстве также имеет ряд типологических параллелей. Например, варианты многих из упоминавшихся сказочников отмечены разнообразием бытовой обстановки, тяготением к городскому пейзажу, к подробностям разного рода атрибутов городской жизни, что, по-видимому, вообще характерно для современных судеб сказки. Такое повествование легко переходит с описания деревенской жизни героя на моменты его пребывания в «гостинице», в «провинциальном городке» и т. п., создавая ощущение своеобразного новеллистического изложения. Это полностью относится к интересным и длинным сказкам ленского сказителя М. А. Оглоблина, к вариантам такого бывалого человека, как нерчинский сказочник С. Т. Чекашин (105).

Атрибуты городского образа жизни, какими они представляются сказочнику, нашли отражение и в сказках замечательного тункинского сказителя Д. С. Асламова. В сказке «Орёл-помощник» сказочник так рисует странную метаморфозу, которая приключилась вдруг с Бабой-ягой: «...бросила баба ногу, топнула – выскочили слуги, лакеи, повара: кто её обуват, кто её одеват, кто на стол набират. Разоделась баба, чище её в городе нет». И там же: «Подхватили лакеи, увели его (героя. – Е. Ш.) в комнату: обувают его, одевают его, такого господина в городе нет...»

Или: «Вот приезжает он ночью, в непоказанные часы, колокольчик дёргат у ворот»³⁸.

Но в основном в сказках Асламова нашли отражение черты крестьянского и охотничьего сибирского быта. «Непревзойдённым мастером бытописания» назвал сказочника знавший его Л. Е. Элиасов. «По его сказкам, – пишет учёный, – можно было писать этнографические очерки о населении не только Тункинского края, но и витимо-олёкминской тайги, которую он хорошо знал. Условия таёжной жизни и быт населения деревни настолько отражались в его сказках, что любой сибиряк в них узнавал обстановку родного дома, видел наглядные картины, отражающие семейные взаимоотношения. Зная хорошо жизнь, много видевший и много слышавший, он, разумеется, переносил в рассказываемые произведения немало личных наблюдений. В большинстве его сказок и преданий чувствуются автобиографические черты сказителя» (124, с. 24-25).

Именно такого рода бытописание характерно и для сказок Томшина. В отличие от упоминавшихся выше и многих других современных сказителей, в его сказках мы не найдём разнообразия бытовой обстановки и тем более городских пейзажей. Томшин – бытописатель сибирских таёжных деревень, повседневной обыденности, взаимоотношений их жителей, своеобразия их миропонимания, таёжных обычаев и промыслов. В этом отчасти уже можно было убедиться на примерах из его сказок, а также приводимых в процессе исследования эпизодов из таёжных быличек и бывальщин, изобилующих разнообразными жанровыми зарисовками с многочисленными деталями и штрихами сибирского быта.

Вместе с тем, в отличие от многих других сказочников-сибиряков, в варианты которых Сибирь вошла, главным образом, отдельными штрихами и деталями, у Томшина, как покажет дальнейшее, «взаимоотношения» с родным краем находят более глубокие творческие проявления.

Томшин – бытописатель нравов, и не только современной ему Сибири, но и её прошедшего. В его сказках, как и в ранее рассмотренных народно-поэтических представлениях сказочника, наряду с элементами нового, значительное место занимают традиционные взгляды, во многом унаследованные от сибирского прошлого. И в этом – диалектика человеческих представлений, когда новое, подсказанное прогрессивным общественно-производственным опытом, уживается со старым, не имеющим уже под собой какой-либо практической основы. К тому же, как уже отмечалось, в сказке – жанре по самой своей эстетике традиционном – отражение любых социально-производственных и мировоззренческих изменений, при всей сложности самого процесса (отражения), имеет характер особой, специфически фольклорной, заторможенности.

К тому же нельзя не учитывать и тот факт, что формирование мировоззрения и сказительского ремесла Томшина совпало с чрезвычайно сложным периодом в жизни

сибирского крестьянства, в силу упоминавшихся историко-экономических и географических причин находившегося в особых условиях, которые способствовали длительной задержке нравов и взглядов прошлого в глухих таёжных сёлах Приленья.

Именно они, эти старые таёжные представления и обычаи, ярко и живо встают из волшебных сказок Томшина. «Ишь, колдовка приходила», – так воспринимают царские стражники молчаливую и робкую мать Аладина. Они с осторожностью наблюдают за ней, делясь друг с другом подробными впечатлениями: «...даже ни одного слова не сказала и кого-то приносила. Она кого-то нашаманила, чо-то хочет сотворить с нами... Завтра обязательно опять придёт и что-нибудь да сотворит. Обязательно. До трёх раз...»

Так же реагируют люди и на чудесную постройку за одну ночь дворца из драгоценных «каменьев»: «Ну, в какую-то он пору мог сделать из таких из мелких камней дворец? Как слепить мог, да притом за ночь? Это не путный человек. Это колдун, нечистая сила». И «посторонний какой-то», «прохожий» (бродяга!) усиленно твердит царю про Аладина: «Эта нечистая и приехала. Это же колдун, волшебник». «Вот посмотри, не отстаёт на протяжении длительного отрезка повествования этот «прохожий». – Он его (дворец. – Е. Ш.) куда-нибудь скутат вместе с дочерью». – «Клинка подпускаешь мне!?» – возмущается его «политикой» царь.

Испугавшись тяжёлого душевного состояния сына, внезапно влюбившегося в царскую дочь, мать истолковывает это вмешательством нечистой силы и потому «давай л а д и т ь о т т и с п у г у. Поить его, купать. Ну, ладно, давай уж отходить он» ((104, с. 118–123).

Так же «ладит» старик напуганную медведем старуху в сказке «Иван – Медвежье Ухо», т. е. по старинным мирским понятиям, лечит колдовством, заговаривает, применяя при этом настои из трав: «Старик кореньев и принёс, давай ладить: парит их, поит её, то, друго. Но, то. Вроде давай оздоравливать»³⁹. В это время охотники расправились с медведем: «живо взяли ружья и добыли этого зверя»⁴⁰. В этой же сказке герой во время схватки со змеем уходит в землю «по о б о р к и» – так называлась верхняя часть чирков, – мягкой сибирской обуви, изготовленной из специально обработанной, чирошной кожи.

Черты сибирского быта в вариантах Томшина нашли своё воплощение не только в эпизодах или второстепенных деталях сказочного повествования, но вошли в самую суть его, не нарушив традиции и в то же время творчески её преобразовав. «Чем ярче, чем талантливее сказочник, – писал М. К. Азадовский, присоединяясь к ранее высказанным на этот счёт мнениям (26), – тем сильнее связан он со всей страной и всем народом в целом, тем сильнее и резче отражаются в его сказках и специфические черты его края; последние же... не только придают бытовую окраску, но и являются источниками новых чудесных комбинаций».

Под специфическими чертами края учёный понимал не только географические или какие-либо иные природные особенности, но, главным образом, своеобразие социальной психологии и судеб населяющих его людей. Именно поэтому фантастику в сказках, например, Коргуева он считает «навеянной рыбацким бытом и природой карельского Беломорья»; в сказках Куприяники М. К. Азадовский видит «черты южнорусской природы и южнорусского быта». В сказках Сороковикова-Магая – отмечает величественные образы сибирской природы, «а в обликах основных героев его сказок отчётливо проступают очертания его земляков – тункинских охотников и тункинских земледельцев» (3, с. 81).

То же самое можно сказать и о сказках Асламова, Шелиховой, Кошкарова-Чирошника, Скобелина, а также подробно рассмотренных нами рассказчиков винокуровского и ангинского сказительских направлений.

Своеобразие сибирского приленского быта подсказало «новые чудесные комбинации» и такому талантливому сказочнику, как Томшин. Однако у Томшина, в отличие от перечисленных и многих других сказочников Восточной Сибири, эти «чудесные комбинации» поднялись на иную, я бы сказала, более интересную творческую ступень.

Последнее утверждение, конечно, не означает про возгласения «расцвета» волшебной сказки в XX веке. Однако определение современного состояния сказочной традиции, как угасания, не должно заслонять от исследователя диалектической закономерности

отдельных её творческих взлётов, в которых отражаются возможности сказительского мастерства эпохи.

Именно такой творческой удачей представляется образ деда из сказки Томшина «Про трёх сестёр». Для нас он интересен не столько тем, что вобрал в себя какие-то черты личности сказочника, сколько мастерским сочетанием в нём традиционного и индивидуального. По органичности такого соединения, т. е. по той специфичной фольклорности, которая выразилась в нём, – он уникален. С одной стороны, томшинский дед из породы тех «мудрых старцев», которыми богато народное творчество. С другой, – в нём проступают черты личной биографии сказочника. Но эти личные черты растворяются в особой социально-биографической типичности, характерной для определённой части сибирского и, в частности, ленского населения конца прошлого и начала нашего столетия, вынужденного жить бродяжничеством, добывать пропитание какими-либо случайными способами. Эта специфическая черта старосибирского быта нами уже отмечалась. Характерна она и для сибирской сказки. Недаром бродяжничать, «странствовать» уходят герои сказочных вариантов почти всех известных рассказчиков Сибири.

Мотивы скитальчества чрезвычайно распространены в творчестве Томшина. Они всплывают в коротких репликах и отдельных деталях: «сблудившие» в лесу дети, которых приютил тоже когда-то заблудившийся тайге охотник («Приключения двух охотников»), Иван-Горошина из одноименной сказки, который «собрал фоты (фотографии. – Е. Ш.), насушил куль сухарей, взял котелок, чашку, ложку, навязал мешок и пошёл странствовать»⁴¹; даже «народ», когда началась в царстве царя-Гороха «голодуха», весь «пошёл странствовать»⁴². С фигурой «какого-то постороннего», «прохожего» мы сталкивались уже и в сказке «Про Аладина».

В варианте «Про трёх сестёр» тема бродяжничества получает своё дальнейшее развитие. Обычно, по традиции, пропавших сестёр ищут царевичи либо богатыри, часто чудесного происхождения: Вечерник, Полуношник, Световик или Светлан (97, № 14, 17); Иван Вечерник, Иван Полуношник, Иван-Зорькин (98, № 18); Медвежье Ухо, Пересыпи-Гора, Переверни-Гора (102, № 9), Кожа медвежья, лицо, человечье (15, № 43); Алексей Попович, Дубынец, Горынец и Усыня – богатыри (14, № 45); Иван-царевич, Кошкин сын, Сукин сын, Кухаркин сын (93, № 18); редким героем этого сюжета выступает солдат (29, № 33) и т. п. Все эти герои-искатели, несмотря на ряд существенных различий, имеют одну общую черту: они все молоды.

У Томшина главный герой, совершающий все подвиги, – старик-бродяга, который «жись провёл» в скитаниях. Ему и теперь «ишо идти далеко», и он согласился наняться к купцу на розыски, потому что тот платит «за все дни, и за труд, и за ходьбу».

Любопытно, что впервые перед слушателями дед предстаёт в качестве прохожего через сибирское село, где он «потрахлает» навстречу таким же прохожим солдатам, которые, как и дед, просят ночлега в большом купеческом доме. Их кормят «ужной», а после начинаются расспросы, не слыхали ли они в дороге каких слухов: «Ты, дед, не слыхал ли какого разговору?.. У меня три дочери сразу потерялись» (116, с. 47).

Небольшая картинка эта, типично сибирская, точнее, ленская, живо перекликается с многочисленными и уже приводившимися свидетельствами учёных, а также рассказами самих ленцев о прохожих, о бесконечных расспросах «странных», о разных «слухах», которые велись особенно после «ужны» в долгие зимние вечера.

Именно эта черта сибирского быта находит отражение в первой сцене приюта и расспросов прохожих солдат и деда, которая вместе с тем морфологически и функционально традиционна.

Томшин – крестьянин по происхождению, которому волей обстоятельств пришлось часть своей жизни провести в скитаниях, наделяет и своего героя типично крестьянской психологией. Она ощущается сразу же в характере реакции деда на предложение купца принять участие в розысках, в той практически-рассудительной аргументации, с которой

дед принимает это предложена «они же не лишны будут денежки-то тудак. Не тяжела кака работа – там розыски идти делать» (116, с. 48).

Таким по-хозяйски расчётливым крестьянином с судьбой бродяги и вместе с тем традиционным сказочки мудрецом (как это выяснится из дальнейшего повествования, проводит Томшин своего героя через всю сказку. Поражает та последовательность, с которой сказочник развивает намеченные черты образа, не забывая ни об одной: они то идут рядом, то скрещиваются, тесно переплетаются друг с другом, но нигде не теряются.

Вот сцена в зимовье. Хитроумным противником и филофствующим старцем предстаёт в ней дед. Старик сварил «ужну», навесил над камельком котелок с чаем и теперь сидит у огня, пытаясь разгадать «тайность»: куда исчезла дорога, «кто украл её, спрятал?»

Появляется Сам-с-ноготок, и перед слушателями разрешается зримая сцена единоборства карлы с дедом, ловким, воинствующим, мудрым:

«Дед цап его за бороду!

– Покажи мне дорогу, куда она идёт?.. Кто её украл, спрятал?..

– Кака дорога? – отвечает Сам-с-ноготок. – Кончилась она, ваша дорога.

– Дороги конца нет! Дорога, она идёт круг бела света! Вот так вот, – говорит дед. – Ты её скрыл, дорогу... Где она? Покажи! Не покажешь... вон шшель видишь у зимовья? Сейчас как тебя туда запрю, так и за сохнешь там навек!

– Нет, нет, – взмолился Сам-с-ноготок, – я покажу тебе дорогу, только не пихай меня туда, – махнул рукой, и дорога появилась.

Дед посмотрел, посмотрел, взял да и затолкал его в шшель, ишо и законопатил: «Не то, подумал он, ишо догонишь да ишо и кончишь нас тудак» (116, с. 49).

Эта расправа деда с карлой кажущаяся, на первом взгляд, несправедливой (старик нарушает слово), на самом деле глубоко оправдана уже наметившейся предусмотрительной и хитроумной личностью крестьянина-деда, что не противоречит и традиции: народная мораль, требуя от положительных героев благородства и честности во взаимоотношениях, вместе с тем позволяет лукавить с врагами. Последнее идёт, по-видимому, ещё от той старорусской народной морали и психологии, которая так ярко выражена во всей древнерусской литературе⁴³, а также во многом объясняется художественным методом фольклора с его принципами широкой типизации, позволяющими не только «охаивать»⁴⁴ отрицательного персонажа, но и допускать в борьбе с ним лукавство и обман.

«Я на силу надеяться не буду, а на хитрость, – говорит другой герой Томшина – богатырь Иван-Горошина. – Трость силу побеждает. Вот так вот!»⁴⁵

Умён, ловок, расчётлив, справедлив и хитёр томшинский бывалый дед: сначала других послушает, а потом сам скажет. «Где, по-вашему, искать надо? – пытается он молодых солдат. – Вы ведь молодые люди,

должны лучше соображать. Дак где?..»

«Нет, голубчики», – отвергает он их предложение и задаёт другой вопрос. Потом вновь выспрашивает, потом предлагает своё.

Дед по-хозяйски основателен и практичен: наделав и бычьей кожи ремней, по которым предстоит взобраться на высокую скалу, тщательно проверяет их крепость, рассудительно замечая при этом: «А ну-ка, порвись они там где-нибудь – чо получится? Крах получится!»

Развёртывая традиционный сказочный сюжет, повествуя о победе деда над многоголовыми змеями, описывая его колдовские действия со сказочными дворцами, Томшин не забывает об особой судьбе своего героя-бродяги и пользуется любым удобным случаем, чтобы напомнить о ней слушателям.

Демонстрируя молодым солдатам свою силу (сцена забрасывания ремней на скалу), дед хвалится ей, этой «удачей-силой», намекая на какие-то совсем не сказочные события; «Я ишо на борьбу пойду – так шайку размету как надо.... На меня нападать трудно. Я один шайку раздевал, один себе. А вам не приходилось этого делать, наверно. Да-а...» (116, с. 48–51).

Это признание, такое неожиданное для сказки, как и многозначительное «да-а...», переносящее старика в давние, не высказанные вслух воспоминания, отзываются и в услужливой памяти слушателей, будоражат воображение картинами вполне реальными из нелёгкого и сложного дореволюционного, прошлого Приленья.

И здесь опять напрашивается экскурс в историю сибирского бродяжничества.

Дело в том, что во взаимоотношениях бродяг и оседлого сибирского крестьянства была не только «идиллическая» сторона. Бродяжничество нередко оборачивалось для населения настоящим бичом, неся с собой разбой и грабежи. Последние особенно усилились, когда бродяжничество потеряло свободу. «Под влиянием запрета» бродяги превращаются в «беглых» и, «преследуемые, проявляют свою деятельность бесчинствами и разбоем» (126, с. 358–359).

«Уголовные же поселенцы того времени просто бежали, – пишет в цитированной выше статье Вацлав Серошевский, – собирались на Лене и Енисее в большие ватаги и ездили на лодках грабить селения, купеческие караваны, даже государственные обозы с казной и ясаком» (92, с. 227).

Страшными историями и всевозможными «случаями» пестрят и воспоминания приленцев. Вот одно из них, в некотором роде обобщающее другие: «По Лене плыть – под пулю идти». Взаимоотношения сибирских крестьян с бродягами осложнялись и спровоцированной местными властями так называемой «охотой на горбачей». Под таким названием встречаются упоминания об этом жестоком обычае в путевых заметках, мемуарах и этнографических очерках разных авторов. «Горбач-бродяга, – поясняет И. Г. Прыжов, – человек, горем и нуждой сгорбленный до земли» (73, с. 322).

М. Загоскин в очерках о жизни и быте сибирских крестьян объясняет подобное явление той лёгкостью, с которой в Сибири скрываются преступления (28). Однако совершенно очевидно, что причины заключались не только в этом. Корни явления уходили гораздо глубже. И. Г. Прыжов сумел разглядеть их в поощрении крестьян к ловле бродяг самим местным начальством. Он приводит факты, свидетельствующие о совершенно определённой сумме вознаграждения, назначаемой начальством за каждого убитого и за каждого пойманного бродягу. Поэтому не приходится удивляться тому, что некоторые из крестьян охоту на людей превратили в особый вид отхожего промысла. Так случилось, например, с неким Парамонычем из Томской губернии, который жил исключительно убийством горбачей. И. Г. Прыжов называет фамилии отдельных людей, на совести которых было от 60 до 90 пойманных бродяг. Часть их поставлялась властям живыми, а часть убитыми.

Приводя подобные факты, И. Г. Прыжов, вместе с тем почти во всех «Записках о Сибири» впадает в крайне необъективные и преувеличенные обобщения. Он пишет о том, что к такой страшной охоте «сибиряк привыкает с детства. Крестьянский мальчик, вместо того, чтоб по-своему наслаждаться жизнью, смотрит уже разбойником и, между прочим, просит отца убить бродягу из винтовки, чтоб посмотреть, как горбун будет на горбе вертеться» (73, с. 326).

Такие выводы, конечно, страдают чрезмерной обобщённостью. Однако, хотя и малочисленные, но подобные факты всё-таки имели место в сибирской действительности прошлого и не могли не сказаться не только в мемуарной литературе, но и на фольклорном творчестве сибиряков.

Не схожими ли страницами прошлого Сибири навеяны и «сказочные» воспоминания Томшина и его героя?

Кстати, аналогичные мотивы встречаются и в вариантах других сибирских сказочников. Например, в сказке Магая «Солдатская служба» рассказывается о том, как герой в тайге спасает купца от грабителей. Вот что по этому поводу пишет исследователь его творчества: «Такого эпизода нет ни в одной из известных версий этого сюжета, и он введён, несомненно, из сибирских преданий, в которых эта тема часто встречается, отражая специфическую черту старого сибирского быта» (3, с. 96).

Целиком на таких преданиях построена цитированная в первой главе сказка Шеметовой «Непросская ведьма», которую, по словам сказочницы, она переняла от Винокуровой. В основе сказки-бывальщины Пермяковой «Мертвец в подполье» также лежит легенда о местном разбойнике. Повествование сказочницы из Усть-Кутского района Г. Ш. Халиулиной «Два брата и разбойники», хотя и начинается с традиционного рассказа о бедном и богатом брате, но дальше целиком переключается на трагикомический случай из жизни одного из приленских мужиков, который вместе с братом, женой и собакой повстречал в тайге разбойников.

Весь рассказ, который Халиулина называет «сказкой», заканчивается победой над разбойниками и сценой наказания жены, которая пожелала было остаться у красивого атамана. Она вымалывает у мужа пощаду: «Дети, мол, у нас, пожалей!» И собака «не кусат бабу, а сама то на бабу глазам поведёт, то на детей, то на детей, то на бабу. Мужик и оставил её, не стал убивать»⁴⁶.

Но больше всего подобного типа историй-сказок у самого Томшина. Это – «Про солдата» (о заблудившихся в тайге солдате и охотнике, которые набредают на зимовье разбойников; солдат многих побивает, но и с ним зверски расправляются); «Про разбойников» (парень по портрету влюбляется в девушку, которая оказывается связанной с разбойниками, и разоблачает всех); «Как два брата домой на побывку приехали» (рассказ-быль, повествующий о разоблачении в 30-е годы двумя приехавшими на побывку солдатами разбойничьей банды, скрывающейся в разрушенной церкви); «Про Соньку-золоторучку» (рассказ о похождениях разбойников) и т. п.

Однако вернёмся к деду.

Характерно, что дед из томшинской сказки – это не бродяга вообще, а бродяга, всей своей судьбой и психологией привязанный к определённом и чёткому географическому месту. Это – бродяга сибирский.

Слушатель сразу ощущает ту особую сибирскую атмосферу, которой окружён и этот интересный дед, и вся система томшинского сказа. Однако было бы ошибкой относить её за счёт так называемого «использования» сказочником отдельных сибирских терминов или каких-либо иных формальных признаков. Сибирская атмосфера сказок Томшина коренится, несомненно, в более глубоких творческих импульсах, идущих от мироощущения сибирского крестьянина, от сибирских особенностей в характере⁴⁷. Поэтому все художественные образы не просто несут локальный отпечаток, но дышат Сибирью, связаны с ней по своей сути.

Вот сцена в зимовье. Однако не сама по себе «зимовейка» – обязательный атрибут сибирской тайги – создаёт это впечатление. Дело совсем не в ней, а в той общей обстановке, на которую «работает» каждая деталь томшинского рассказа: это и предполагаемый героями «угар», который «должно получился» от сложенной наспех лесной печурки, и «навешанный» таёжным способом непрременный чай, который сопровождает завтрак, обед и ужин сибирского крестьянина, и законопаченные в жестокие сибирские морозы стены зимовья, и, наконец, фигура самого деда, задумчиво сидящего у огня и пытающегося разгадать «тайность»⁴⁸ (116, с. 49).

Такими же, насквозь сибирскими видятся и другие, рассмотренные ранее сказки Томшина. Несколько слов ещё об одной. Томшин называет её «Приключения двух охотников». Уже сам заголовок сообщает повествованию определённый настрой. Слушатели узнают о двух мальчишках Александре и Василии, которые заблудились в тайге и нашли приют у старого охотника.

«Я – таёжник, охотник, – говорит он про себя. – И вы станете охотниками. Я ведь тоже когда-то заблудился и взрос в лесу. И состарился в лесу» (116, с. 49).

Однако, как и в предыдущей сказке, самым значительным является обращение к психологии героев (в той, конечно, мере, в какой позволяет фольклорное искусство).

«Я... вырос в лесу. И вот теперь я без лесу быть не могу, – признаётся своей жене уже взрослый Александр. – Хотя ты мне золота насыпь – оно мне наместо сору. Вот если я уйду, хотя на день в тайгу, то буду нецелый такой, будто где-то чего-то взял...» (116, с. 78).

Даже известный фольклорный принцип широкой типизации не помешал сказочнику в какой-то мере проявить сибирские особенности в характерах своих героев. Наиболее чётко это сказалось в диалогах: в их размеченной неторопливости, в подчёркнутой всем синтаксическим строем манере не удивляться неожиданным известиям и новому человеку, идущей, очевидно, от близкого общения с малыми народностями Сибири (эвенками, бурятами и др.).

«Дед пошagal... видит – вдалеке как огонёк горит. Ну, чо? Мало ли хто не бывает? Охотники, может, или ещё хто тамака...»

Так же не удивляется купеческая дочь появлению деда в золотом доме змея. Она только спрашивает:

«– Ты, – говорит, – дедка, куда? –И узнав, что он пришёл спасать её, точно по-ленски отвечает: – Но, но. Заходите в избу-то... Мой муж, знаешь, какой? Не православный человек, а змей летучий.

– Да, – говорит дед, – всяко бывает...» (116, с. 51-52).

В этом коротком диалоге два момента по степени проникновения во внутренний мир приленцев поистине замечательны. Первый – это сибирское «но» в значении «да». Не сибирякам, может быть, его и не понять. Наверное, нужно самому услышать интонацию этого «но», видеть то выражение, с которым оно говорится, и иметь с тем ощутить внутреннюю причину его произнесения, чтобы уловить разницу между силой эмоции (каждый раз новой!), в нём заключённой, и внешне бесстрастной манерой её выражения. К тому же это «но» несёт и социальный оттенок: сибирская интеллигенция, как правило, его не употребляет.

Такой же великолепной деталью в свете высказанного представляется и реакция деда на известие о змее – «человеке не православном» – «...всяко бывает», – только и говорит невозмутимый дед.

Образ томшинского героя – сибиряка-бродяги, выходца из крестьянской среды – венчает последняя сцена расставания с дедом. Прежде всего, она мастерски «сработана» композиционно: сказочная судьба героя кончилась – он нашёл и вернул купцу похищенных дочерей. Но его жизненная, скитальческая судьба продолжается – «Мне ишо далеко идти», – говорит он. И эта диалогическая деталь вместе с моментом первого появления деда в сказке, когда он «потрахлает» навстречу солдатам в незнакомом ему селе, – своеобразная художественная рамка, логически обрамляющая образ деда.

Вместе с тем последняя сцена является и психологическим завершением созданного сказочником образа Крестьянская рассудительность, справедливость и добропорядочность томшинского героя, как, собственно, и купца-хозяина, чётко вырисовывается в прощальном диалоге двух персонажей. Диалог этот настолько хорош по мастерству проникновения в крестьянскую психологию, что мы приводим его почти целиком:

«– Ты как хозяин не торопись наставлять на столы. Я тебе кое-что маленько расскажу: вот, к примеру, – первый солдат. За него ты отдашь одну свою дочь. Так? За второго – вторую. Так? За третьего – третью. Им платы никакой не надо. Это все товар твой – дочеря – вот имя и деньги! А каки ишо им деньги надо? А как я все это изделал, мне уплатить надо. Ясно будет?..

– Да, – говорит (купец. – Е. Ш), – вы правильно рассудили».

Однако справедливого и рассудительного деда, привыкшего всё начатое «доводить до ума», не устраивает лишь одно решение «сверху». Ему необходимо знать, отнесутся к его мнению и сами солдаты:

«– Ты ещё у них спроси, чо они тебе скажут», – говорит он хозяину.

– Ну, как, ребята? Ничо? Против вы не пойдёте? – спрашивает их хозяин и уже от себя поясняет: – Дед с вами ходил и такое предложение внёс: в общем, вам платить нечего

денежки. Вам денежки вот: ваши жёны и невесты. Как вы, согласны ли, нет на это? А потом вы и входите во всё готовое. А кто их строил? Дед! А за работу надо ему уплатить – одно! А если перевозить дом с места на место, его надо выкупить, перевезти, сложить. Это же надо всё нанять! И заплать! А сколько будет стоить одна избушка? Так. Да второй, да третий дом. Ну-ка, по дешшый тайте, никакую сумму?!

...Подшчитали... Взял эту сумму хозяин и поднёс деду» (116, с. 57–58).

На примере такого оригинально-житейского переосмысления традиции мы столкнулись с фактом подлинного творческого к ней отношения, явились свидетелями материализации одного из главных эстетических принципов фольклорного искусства – диалектического единства коллективного и индивидуального, когда носителем последнего выступает настоящему талантливый мастер- импровизатор. Ибо только большой народный поэт, превосходно владеющий традицией и наделённый даром тонко чувствовать природу её эстетики, смог провести свой и в то же время до конца фольклорный персонаж по самым извилистым тропам чудесного повествования, нигде его не переступив и не нарушив вместе с тем логики поведения так мастерски модифицированного им образа.

Чрезвычайно любопытным в этом смысле является момент «стыковки» традиционного сюжета и особенностей «характера» деда, сообщённых ему индивидуальным импульсом рассказчика.

Обычно, как вполне справедливо и на большом материале показал Н. В. Новиков (58), характер образа в волшебной сказке зависит от сюжета. Этот закон, несомненно, представляет собой некую классическую всеобщность, которой, очевидно, не противоречит известная диалектическая подвижность его непосредственного проявления. По-видимому, бывают моменты, когда (не в главных деталях и достаточно кратковременно) происходит, так сказать, «обмен ролями» и сказочный персонаж начинает вносить свои коррективы в его же породивший сюжет. Последнее возможно, скорее всего, в конце повествования, когда сюжет своё дело сделал определил традиционную основу образа. И теперь традиционный характер, успевший уже приобрести некоторые индивидуальные черты⁴⁹, привнесённые в него импровизатором, получил соответственно им «право (весьма незначительное, но тем не менее) влиять на сюжет.

Именно исходя из такой теоретической посылки, мы можем объяснить отчасти исключение из томшинского варианта «Трёх сестёр» эпизода предательства. Мотив предательства по отношению к герою-победителю его спутников и связанный с ним эпизод наличествует, как правило, во всех известных версиях этой сюжетной темы и необходим для её дальнейшего традиционного развития.

Исключение подобного эпизода из сказки Томшина мы меньше всего склонны отнести за счёт забывчивости сказочника или незнания им такой детали композиционного канона.

Отсутствие мотива предательства, как и весь ход развёртывающихся в сказке событий, строго мотивируется художественной логикой создаваемых сказочником образов.

Прежде всего, в отличие от других известных вариантов, томшинский герой – не младший брат и не зять своих помощников. И во всех отношениях он не ровня им. Годами, многоопытностью и мудростью он как бы волей обстоятельств поставлен над неопытными и не очень-то сообразительными своими спутниками, которые уже поэтому не должны бы помышлять о какой-то ни было борьбе с ним.

К тому же герой – стар и в «делах сердечных» не может быть соперником солдатам, о чём говорит сам: Там трое девушек и вас трое. Как раз по паре будет. А мне незачем. Я уже жись свою провёл».

С другой стороны, и спутники его по розыску – не купеческие сыновья или царевичи, мечтающие во что бы то ни стало получить полцарства, а солдаты-прохожие. Дед хорошо понимает их «бесшабашную» психологию и, уходя на поиски сестёр, говорит: «Ну, ребята, идите в зимовье. Пейте, гуляйте и меня ожидайте» (116, с. 51).

Таким образом, сами характеры персонажей исключают конфликтность ситуации, и эпизод предательства снимается сказочником.

Вместе с тем мотив предательства, как отмечалось, совершенно необходим для дальнейшего развития сказочного действия, т. к. он и возникающая в результате предательства преграда влечёт за собой ряд волшебных приключений, в которых проявляются замечательные особенности героя. Поэтому, снимая эпизод предательства, который не вязался бы с характерами сказочных персонажей, Томшин всё-таки создаёт своему герою необходимое препятствие. Но это препятствие иного порядка, так сказать, объективного, которое не задевает добропорядочности отношений героев: ремень, на котором должен спуститься со скалы дед, не обрезается его соперниками (которых, по сути дела, и нет). Он обрывается сам, когда по нему спускается младшая из сестёр.

Притом сказочника нимало не интересует судьба оборвавшейся девушки, поскольку в данной ситуации интерес к женским персонажам традицией не предусмотрен. Зато, как и положено по традиции, Томшин использует этот момент, чтобы ярче оттенить характер своего героя.

Сказочник ещё раз показывает его в трудном положении, подчёркивает находчивость, хозяйскую сметку деда, который, в отличие от своих односюжетных братьев, и, подчиняясь творческой воле рассказчика, не прибегает к волшебным средствам, а дерёт лыко и делает из него крепкие верёвки: «связал так, чтоб уж с избытком было», – и по ним спускается со скалы (116, с. 56).

Так удачно сращивает Томшин традицию с характером переосмысливаемых им персонажей, в чём, собственно, и проявляется диалектика традиционного и индивидуального в живом творческом процессе.

Кроме того, несмотря на то, что образ деда, – несомненно, наиболее своеобразная из всех рассмотренных выше «чудесных комбинаций» в системе социально-биографических сообщений сказочников и мы рискнули даже назвать его лирическим героем сказителя, он тем не менее – также не «этот», не один-единственный, который не походил бы на других персонажей из сказок Томшина. Социально-биографические черты этого образа проступают и в облике сметливого и «удачного» охотника-стрелка Андрея, и в лице по-крестьянски практичного героя из «Сабли-невидимки», в находчивом и осторожном искателе своей сестры Иване-Горошине, и в образе Ивана – Медвежьего уха, намеревающегося обойти «весь земной шар» («моя путь такая»), и в облике когда-то заблудившегося и оставшегося на всю жизнь в тайге старика-охотника («Приключения двух охотников»), и в характерах почти всех других положительных героев рассказчика.

Поэтому, отмечая безусловную творческую удачу сказочника в переосмыслении им традиционной сюжетной темы и связанного с ней образа, нельзя не отметить глубоко фольклорный характер его интерпретаций, каждый раз своеобразную, но подлинно народную природу которой мы обнаруживали в вариантах и других русских повествователей Сибири.

¹ Цифры эти, по всей вероятности, не совсем точные, т. к. Н. М. Ядринцев в определении их, по его собственному признанию, пользовался свидетельствами самих бродяг.

² Интересные сведения о развитии социальных отношений на горных промыслах и золотых приисках в Забайкалье содержит третья глава книги Л. Е. Элиасова «Фольклор Восточной Сибири» (125, с. 121–195)

³ Записано мной со слов Ф. Е. Томшина.

⁴ Бродяжки мешки.

⁵ Т. е. просить милостыню.

⁶ Картофель.

⁷ А. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л. 1929.

⁸ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 1.

⁹ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 2.

-
- ¹⁰ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 545.
- ¹¹ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 103.
- ¹² Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 554.
- ¹³ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 540.
- ¹⁴ Очипь – гибкая палка. На такие в сибирских деревнях подвешивали зыбки.
- ¹⁵ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 551.
- ¹⁶ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).
- ¹⁷ Аналогий указатели не дают. Схема сюжета: у царя Гороха те дочери. Над младшей, Горошиной, тяготее проклятье. По злобе она сводит с ума отца. Царство разоряется. В старшую дочь Гороха – Кутахью – влюблён сын царя Косаря. Сватается – отказ. Царь Косарь идёт войной на Гороха. Кутахью царь Горох держит и темнице. Освобождает её Горошина, превращает в голубя и отправляет в царство Косаря. Сын царя Косаря, вернувшись из похода, женится на другой девушке. Но в разгар свадьбы замечает на башне голубя. Стреляет в него. Голубь падает и превращается в Кутахью. Свадьба. С Горошины снимает проклятье молодой парень на коне. Свадьба. Повествование ведётся с соблюдением всех традиционных сказочных формул.
- ¹⁸ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).
- ¹⁹ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).
- ²⁰ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 300 А.
- ²¹ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 650 А.
- ²² Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).
- ²³ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 465 А.
- ²⁴ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).
- ²⁵ Имеются в виду не примеры кратковременного бродяжничества, которое выпадало на долю политических ссыльных, или другие случайные его проявления.
- ²⁶ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 303.
- ²⁷ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 561.
- ²⁸ П. А. Болдаков – близкий сосед Ф. Е. Томшина, сказочник, в чьём творчестве, как и в сказках винокуровской школы, нашла отражение психология беднейшего сибирского крестьянства.
- ²⁹ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 565.
- ³⁰ Рукописный отдел Бурятского филиала СО РАН (Улан-Удэ).
- ³¹ Рукописный отдел Бурятского филиала СО РАН (Улан-Удэ).
- ³² Рукописный отдел Бурятского филиала СО РАН (Улан-Удэ).
- ³³ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 465.
- ³⁴ Архив К. А. Копержинского, № 1006. Хранится в рукописном отделе библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург).
- ³⁵ Thompson S. The types of the folklore («Указатель сказочных типов»), 567.
- ³⁶ Архив К. А. Копержинского, № 1006. Хранится в рукописном отделе библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург).
- ³⁷ Архив К. А. Копержинского, № 1006. Хранится в рукописном отделе библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург).
- ³⁸ Архив М. А. Азадовского, ф. 542. Хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки им. Ленина (Москва).
- ³⁹ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).

⁴⁰ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).

⁴¹ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).

⁴² Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).

⁴³ К интересным выводам на этот счёт приходит И. П. Ерёмин, исследуя «Повесть временных лет»: «Мораль летописца – конкретна, добро для него – только то, что несёт в его понимании благо Русской земле; зло – всё, что угрожает её благополучию и процветанию... Нарушение клятвы, вероломство и предательство – тяжкий грех, но не по отношению к врагам Русской земли. Когда в 1095 г. в Переяславль к Владимиру Мономаху пришли на «мир» половцы – Илтарь и Кытан, дружина посоветовала ему убить послов. «Как се могу створити, роте с ними ходив?» – спросил Владимир; дружина так ответила ему на это: «Княже! Нету ти в том греха; да они всегда к тебе ходяще роте, губять землю Русьскую и крош. хрестьянску проливають бесперестани». «И послуша их Володимер» (27, с. 53).

⁴⁴ В одной из статей А. М. Горький приводит воспоминание о народном мастере деревянных игрушек, весьма любопытное с точки зрения народного искусствоведения, отражённое в нем. Знакомый писателю мастер говорил: одни игрушки надо делать «хуже против того, каковы они есть, а иные надоть резать получше всамоделешных. Приятное делаю приятней, а которые не приятны и. так я не боюсь о х а я т ь (разрядка моя. – Е. Ш.) пуще того, каковы они уроды» (20, с. 447).

⁴⁵ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).

⁴⁶ Фольклорный архив Иркутского госпединститута (сейчас – Педагогический институт Иркутского государственного университета).

⁴⁷ Имеется в виду не «особый тип», отличный от великорусского, а образ, наделённый своеобразием, присущим сибирякам (особенно в прошлом) в силу специфических природных и историко-экономических условий развития края.

⁴⁸ Вера в волшебную силу огня, способного подсказывать людям в минуту опасности правильное решение, была свойственна в прошлом сибирякам и особенно малым народностям, населяющим этот край. Почтительное отношение к огню можно встретить во многих эвенкийских сказках. Любопытны в этом смысле записи Т. И. Петровой. «Во время моей поездки, – пишет она, – бывали такие случаи: соберутся (эвенки) уже совсем в дорогу, как огонь «чикнет», и эвенки отказываются выезжать из дома, уверяя, что в дороге ждёт несчастье, «огонь не велит ехать». (Материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору, вып. 1, с. 156.)

Неслучайно на эту же сторону эвенкийских верований обратил внимание писатель-землепроходец В. Я. Шишков. Его герой тунгус Василий из рассказа «Та сторона» в трудную для него минуту обращается к огню: «Он сейчас зажжёт костёр, ляжет па бок в снег и станет разгадывать, о чём бормочет пламя».

См. также: Макаренко А. А. Почитание огня у крестьян-сибиряков. – «Живая старина», вып. 2, 1897.

⁴⁹ Последнее несколько не противоречит утверждению выше упомянутого автора, к которому мы полностью присоединяемся и том, что «какие бы нюансы ни приобретал образ в устах отдельных сказочников, он всегда остаётся определённым типом, сохраняя весьма устойчивые, обязательные, характерные для него признаки, по которым мы безошибочно узнаём данный персонаж, независимо от того, под каким именем он выступает в сказках» (58, с. 26).